



Анатолий Петрович Хлопецкий
Русский самурай. Книга 1. Становление
Серия «Патриарх Кирилл: душевный разговор»
Серия «Русский самурай», книга 1

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9307154
Русский самурай. Книга 1. Становление / Хлопецкий А.П.: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-090007-7

Аннотация

Перед вами – удивительная книга, настоящая православная сага о силе русского духа и восточном мастерстве. Началась эта история более ста лет назад, когда сирота Вася Ощепков попал в духовную семинарию в Токио, которой руководил Архимандрит Николай. Более всего Василий отличался в овладении восточными единоборствами. И Архимандрит благословляет талантливого подростка на изучение боевых искусств. Главный герой этой книги – реальный человек, проживший очень непростую жизнь: служба в разведке, затем в Армии и застенки ОГПУ. Но сквозь годы он пронес дух русских богатырей и отвагу японских самураев, никогда не употреблял свою силу во зло, всегда был готов постоять за слабых и обиженных. Сохранив в сердце заветы отца Николая Василий Ощепков стал создателем нового вида единоборств, органично соединившего в себе русскую силу и восточную ловкость.

Содержание

Доброй книге – добрый путь	5
Предисловие автора	6
1. Четыре схватки	8
2. Особая миссия	19
3. Собратья по борьбе	25
4. «Кругом вода, а посреди – беда»	32
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Анатолий Петрович Хлопецкий

Русский самурай. Книга 1. Становление

© Хлопецкий А. П.

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Доброй книге – добрый путь

Закончился XX век, а вместе с ним и второе тысячелетие от Рождества Христова. Что ожидает нас в будущем, что ожидает человечество? Не следует верить ни мрачным прогнозам близкого конца света, ни фантастическим предсказаниям светлого и непременно для всех счастливого будущего. Будущее зависит от того, каким будет человек будущего.

Вся человеческая жизнь является развитием духовных свойств, образа Божьего в человеке, и человек должен стремиться подлинно стать и подобием своего Творца. Если же он изменяет своему призванию одухотворить и преобразить мир, разрушает богоданную нравственную свою природу, он губит и себя, и все окружающее. Человек несет ответственность за все, что он создал, сохранил или разрушил. Поэтому так важно сохранить свое человеческое лицо и достоинство в любых сложных обстоятельствах. Предлагаемая читателю книга А. П. Хлопецкого «Русский самурай» дорога именно тем, что она напоминает нам один из многих примеров нерушимой и всепобеждающей веры во Христе, повествует о поистине апостольской миссионерской деятельности святителя Николая Японского.

Автору удалось показать, что святой Николай имел попечение не только об устройении новой православной Церкви в Японии, но и деятельно заботился о сохранении и развитии в нашем русском народе лучших черт его национального характера, вынашивал планы его духовного просвещения и образования.

Думается, что с особенно большой пользой для себя эту книгу прочитают молодые люди, еще не осознавшие своего подлинного жизненного предназначения, не нашедшие приложения своим силам для служения Истине, Добру, России. Это поможет им найти подлинных духовных наставников, отойти от пропасти бездуховности, бесцельного растрачивания своей жизни, избавит от страха перед неведомым будущим. Важно, что герой повествования – В. С. Ощепков, основоположник единоборства самбо – не выдуманный автором идеальный герой, а реальный человек с очень непростой судьбой. И свой главный бой с жизненными обстоятельствами, с унынием и одиночеством, со злом он все-таки выигрывает благодаря тому, что, сберегая в себе образ Божий, развивает то, что было выпестовано его родителями и духовными учителями.

Да будет доброй книге добрый путь к сердцам людским.

И да благословит Господь Россию.

Кирилл,

митрополит Смоленский и Калининградский

Предисловие автора

Я задумал эту книгу как первую часть трилогии, посвященной глубинным истокам, истории и философии одного из истинно российских спортивных единоборств – самбо.

Уже с первых страниц мне хотелось проследить неразрывную связь русских видов единоборств с традициями былинной богатырской борьбы со Злом, напомнить о главных устоях русских богатырей, подчеркнуть их неагрессивность, запрет употреблять свою силу во зло, постоянную готовность постоять за слабых и обиженных, за други своя и одновременно проявить милость к падшим; умение, покарвав, простить тех, кто понял преподанный урок. Только на такой истинно русской основе могла сформироваться такая яркая личность, как будущий основоположник самбо Василий Сергеевич Ощепков.

Ключевым для меня в повести является и образ святого Николая Японского. Мне хотелось, чтобы как можно больше людей узнало о подвижническом житии святого Николая от рождения до его последних дней.

Особенно важным кажется мне тот исторический факт, что именно святой Николай Японский благословил подростка Васю Ощепкова на путь овладения секретами восточных единоборств, с тем чтобы поставить и эту силу на службу России. Я убежден, что именно благодаря сочетанию исконно русских традиций и освоенных с благословения святого Николая древних восточных канонов был создан принципиально новый, важный для России вид спортивного и боевого единоборства – самбо.

Раскрывая во многом неизвестный доселе читателю духовный облик В. С. Ощепкова, рассказывая о закрытых до недавних пор страницах его биографии, я не мог не прийти к выводу, что, создавая самбо, Василий Сергеевич имел в виду нечто большее, чем просто эффективные приемы самообороны. В сущности, рождалась новая идеология жизни, вобравшая в себя и лучшие устои российского народа, и моральные традиции, глубинные знания всего человечества. О том, что это именно так, свидетельствует и жизнь самого В. С. Ощепкова, которая может служить примером подлинного служения своему народу и своей стране.

На примере многих мастеров самбо я убедился, что, начав заниматься этим видом единоборства, человек любого возраста ступает на непростой, но очень важный для собственного становления путь – это кардинальное изменение характера, моральных принципов, образа бытия, взгляда на окружающих людей и собственное место в жизни. О том, что именно таких людей выковывает самбо, свидетельствует и пример нынешнего президента России.

Самбо не только вырабатывает способность максимально сконцентрировать свои усилия в очень короткое время; победить противника, используя его собственную агрессию; интуитивно предвидеть действия противника и предупредить их.

Уверенность в себе, действенное отношение к жизни, спокойная доброта и готовность в любую минуту вступить в борьбу со злом извне и в себе самом, какое бы обличье оно ни приняло – вот тот облик, которого помогает достичь самбо.

Думается, именно эти черты мы должны постараться воспитать в молодежи, которая вступает в XXI век и которой предстоит олицетворять собой будущую Россию. Это повествование о том, как выковываются такие люди.

Работая над трилогией, я пришел к мысли, что есть Промысел Божий в том, как создавалось российское национальное единоборство, и в том, какое влияние оказало и продолжает оно оказывать на тех, кому предопределено Волей Господа играть историческую роль в судьбе России. Особенно отчетливо это, на мой взгляд, прослеживается в становлении личности нынешнего президента страны.

Я убежден, что самбо несет в себе огромный духовный потенциал, который нам еще предстоит осознать и поставить на службу Святой Руси. В трилогии я попытался подойти к этой важной задаче.

*Анатолий Хлопецкий,
мастер спорта международного класса,
заслуженный тренер Российской Федерации.*

1. Четыре схватки

Человек сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла, в салоне летящего авиалайнера. Он то ли спит, то ли просто задумался под мерное гудение мощных моторов. Ночь. Свет в салоне слегка приглушен. Сдвинуты шторы иллюминаторов. Не видны ни звездная россыпь в небе, ни ее земное отражение в огнях больших городов.

Молодой женщине в кресле рядом не спится, и она исподтишка рассматривает своего случайного попутчика: ей кажется, что он лет тридцати с небольшим. Короткая спортивная стрижка еще нетронута сединой. Вроде бы расслаблен – отдыхает, но угадывается тренированное тело, готовое к любой неожиданной реакции. Неплохо одет. Привлекательный. Но какая-то легкая тень на отрешенном лице – то ли забота, то ли недовольство.

На самом деле он дремлет, но сквозь дремоту чувствует на себе заинтересованный взгляд. И, хотя это ощущение где-то на периферии сознания, оно смутно мешает ему. Перелет для него давно привычен. Он пользуется этим временем вынужденного безделья для того, чтобы отключиться и отдохнуть. Но иногда сознание живет собственной жизнью и зыбкая граница между явью и сном начинает стираться. Вот и сегодня он сам не замечает, как его мозг «щелкнул переключателем программ» и в голове вдруг возникла до яви отчетливая картинка сна...

...Он в ночном городе, который не может назвать, хотя, кажется, не раз бывал здесь. На этой самой короткой улочке, обсаженной старыми деревьями. Недавно прошел дождь, и теперь легкий туман клубится под желтыми фонарями.

Он возвращается откуда-то домой по этой улочке. Ну да – конечно же, из школы: ведь ему всего лет десять-одиннадцать, и у него вечерняя смена. А может быть, с урока музыки из Дворца пионеров. Улочка пуста, и только впереди, где-то в сотне шагов, чуть сутулясь, движется мужская фигура. Если поднапрячь зрение, можно разглядеть и палку, на которую мужчина опирается.

И хотя это, наверное, скорее всего старик и, в случае чего, от него вряд ли можно ожидать помощи, мальчику как-то спокойнее оттого, что кто-то делит с ним ночную улицу. Он идет не оглядываясь: ему почему-то кажется, что там, где он уже прошел, опасность больше не может возникнуть. Это странное, совершенно нелогичное ощущение, однако, его не подводит.

Они, эти пьяные подонки, в самом деле появляются впереди, откуда-то из черных провалов незакрытых подъездов, – три, серые в тумане, бесшумно скользнувшие тени.

И хотя совершенно ясно, что до мальчика им нет никакого дела, они просто не видят его, нацеленные на того, кто ковыляет впереди, мальчишка в панике бросается за ствол ближайшего дерева, приникает к его мокрой коре и почти сливается с ним, стараясь не дышать.

Три тени, вихляясь, приближаются к старику, и мальчику удается расслышать знакомый по рассказам, безобидный и такой страшный вопрос:

– Эй, мужик, закурить не найдется?

Он не разбирает, что отвечает старик, но зато отлично слышит второй издевательски усмешливый голос:

– Слышь, пацаны, оне здоровье свое берегут!

И третий, нарочито замедленный, ленивый:

– На тот свет здоровеньким собрался...

А потом опять издевательски радостный:

– Ну и потеха подвернулась клевая!

Мальчишка еще крепче вжимается в дерево и с ужасом слушает, как что-то лепечет обреченный старик, предлагает деньги, вымаливает свободу, а может, и жизнь под издевательский пьяный хохот троицы.

И вдруг – этот крик, этот вопль, полный ненависти и ликующей ярости! Он потом долго будет взрывать барабанные перепонки в ночных кошмарах:

– И-й-я-а-а-а!

То, что происходило потом, больше всего было похоже на стремительное престо, которое они разбирали сегодня на уроке музыкальной грамоты: да, это была, конечно, драка, но какой-то непонятный ритм присутствовал в ней. Словно кто-то дирижировал этими мельканиями стариковской палки, руганью, сдавленными стонами и наконец тяжелыми шлепками трех тел о землю.

И старик уже бежит, но почему-то назад, не в том направлении, куда шел прежде. Вот он поравнялся с деревом. Мальчик слышит его горячую легкую руку у себя на плече, поднимает на него все еще расширенные страхом глаза. Не так уж этот старик, пожалуй, и стар, а говорит и вовсе запросто, как мальчишка:

– Ну что? Атас? Смываемся?

И они, взявшись за руки, ныряют в ближайший подъезд, который оказывается проходным, с распахнутой задней дверью. Потом под какую-то арку в другой переулок. Еще небольшая пробежка, и мальчик с удивлением видит, что они на той же прежней улочке, только далеко впереди от того дерева и того фонаря, и того страшного места, где все произошло.

Он оглядывается, а спутник снова кладет ему руку на плечо, наклоняется почти к самому лицу и вдруг весело подмигивает. Мальчик почему-то успокаивается, но теперь у него множество вопросов. И сначала он задает самый главный:

– Значит, вы знали, что я за вами иду?

Тот улыбается и кивает головой. Нет, он, пожалуй, все-таки старик – больше сорока ему. И с палкой. Хромой, что ли?

– Вы их здорово ненавидите? – снова спрашивает мальчик.

– Не знаю, – не сразу отвечает старик. – Нет, наверное. Понимаешь, их пришлось бы ненавидеть все время. А жить с постоянной ненавистью тяжело. Ненавижу ли? Нет. Но я люблю... Ну, скажем, этот тихий осенний вечер. Эту улочку в тумане. Тебя. А то, что любишь, нельзя отдавать злу.

– Меня? Но вы же меня совсем не знаете!

– Ну как «не знаю»? Ты мальчик с папкой для нот, который идет домой по темной туманной улице.

«И этого хватит, чтобы любить меня?!» – хочется спросить мальчику. Но вместо этого он тихо говорит:

– А они как? Надо позвонить в милицию!

Старик хмурится и пожимает плечами. На его лице снова мелькает улыбка, но уже другая – твердая, брезгливая и, пожалуй, жесткая. И он небрежно роняет:

– Ничего, отлежатся. Зато урок запомнят надолго. – Потом, словно уловив несогласие в молчании мальчика, нехотя поясняет: – А милиция... пока разберутся, сам знаешь, что может быть.

– Но ведь вы же защищались! Они же первые... – горячо возражает мальчик.

– Это еще надо доказать – невесело отвечает старик. – Свидетелей же не было.

– Как «не было»? А я? – обиженно вскрикивает мальчик.

– Видишь ли, тебя могут и не послушать.

И мальчик опять замолкает. Ему снова в который раз, напомнили, что он пока не принадлежит к этому большому, страшному и прекрасному миру взрослых, у которых свои тайны, разговоры и счета. И порой эти счета подводят так, как сегодня: ты их – или они

тебя. Это уж не какая-то там мальчишеская разборка, где все сводится к синякам и фингалам, а кровь пускают только из расквашенных носов.

Мальчик молча обижается. Он еще живет в том мире, где давно нет беспризорщины и еще нет отмороженных подростковых стай, которые с крысиной жизнеспособностью борются за выживание, за крышу над головой в подвале или на чердаке, за дозу зелья перед сном...

Он не сразу замечает, что впереди загораются в тумане огни большой улицы – отсюда совсем рядом его дом. Вдруг он слышит где-то позади и в стороне сирену патрульной машины и невольно отпускает руку своего спутника. Ему немного стыдно за это движение, но старику угодно понять его по-своему:

– Уже близко? Дальше ты доберешься?

– А разве вы провожали меня?

– Да нет, пожалуй. Просто нам было немного по пути. Ну, прощай.

И он исчезает, свернув в переулок и оставив мальчика одного с его первыми мыслями о зле и возмездии, о мере воздаяния и мере прощения – мыслями о многих вещах, которые прежде просто не приходили мальчику в голову.

* * *

...Женщина в авиакресле видит болезненную судорогу, пробежавшую по лицу спутника. Ей кажется, что он чуть слышно простонал, и она, не удержавшись, кладет свои тонкие холеные пальчики на его загорелый сжатый кулак.

Мужчина поворачивает голову и встречается глазами с попутчицей.

– Кошмар? – сочувственно спрашивает она, явно рассчитывая на продолжение разговора.

– Нет, просто повторяющийся сон, – кратко отзывается он и снова закрывает глаза.

Женщина разочарована. На ее подвижном личике выражение: «Не больно-то и хотелось!» Она вертится в кресле, пытаясь поудобнее устроиться и все-таки наконец заснуть.

«Ах эти несбывшиеся женские ожидания!» – усмехается про себя мужчина. И это тоже повторяется, как сны в полудреме. Одно и то же почти в каждом рейсе. Слова вечной молитвы приходят ему на ум: «... и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Нет, это явно не тот случай – во всяком случае, искушение совсем не так уж велико, чтобы не справиться с ним самому.

В отличие от спутницы ему не приходится призывать дремоту. Она наплывает сама, как размытое изображение в кино, и уводит его в давно знакомый мир, чуть припахивающий разгоряченными телами, сыростью душевых, пылью спортивных ковров...

...Для него этот мир был прекрасен. Юноша полюбил его с первых своих серьезных настоящих соревнований, когда он впервые отправился без родных, только с тренером и своей командой, в большой незнакомый город.

Все было внове – и номер в гостинице, который он делил еще с двумя ребятами, и еда в гостиничном ресторане, за которую расплачивались талончиками с большой лиловой печатью, да и сами соревнования. Почему-то представлялись ему в воображении ряды, как на стадионе, ярусами уходящие вверх, заполненные орущими и рукоплещущими людьми...

А происходило все в полупустом зале, и главными были вовсе не зрители – большинство из них сами были участниками соревнований. Главными были люди за столиками: жюри, рефери, тренеры. Несколько спортивных комментаторов торопливо наговаривали что-то в свои микрофоны, да суетились репортеры со вспышками – позволь им, так влезут прямо между борцами ради заветного, самого «убойного» кадра.

Ему предстояло бороться через день после начала соревнований, вечером. Тренер явно побаивался, что парнишка «перегорит», а он почему-то и не думал о предстоящей схватке – просто рассматривал, впитывал все непривычное, что его окружало, с непосредственностью лисенка, впервые высунувшего нос из родной норы.

Ему нравились возбужденность окружающих его людей, красные и синие спортивные куртки борцов, бодрая энергичная музыка в перерывах. Он присматривался к борьбе других, иногда как бы примеривая их на себя. И зря – каждому борцу достается свой противник, и потому получается своя, не похожая ни на чьи другие, схватка.

Нет, он не боялся, но всю ночь провел то ли в дремоте, то ли в полусне, прокручивая варианты борьбы с возможными противниками. И все-таки встал бодрым, заставил себя собраться, и с той минуты, как вышел на ковер, весь окружающий мир как бы перестал для него существовать.

Первый противник ему попался бойкий, можно сказать, нахальный: с самого начала смело полез вперед, попытался взять в свой захват и бросить через плечо, да не тут-то было, этого от него и ждали: захват перехвачен, передняя подножка – и противник сам оказался на ковре. Быстренько сгруппировался, поднялся в стойку, хочет взять захватом сзади для броска через бедро, но сам летит на ковер, кинутый броском через грудь. Теперь попробуем тебя там удержать. Ах ты, скользкий налим, выворачиваешься... Тогда получай вместо удержания болевой прием – «рычаг» плечевого сустава. Все.

Это была его первая чистая победа, и произошло все гораздо быстрее, чем понадобилось бы времени на подробный рассказ об этом. Две следующие встречи прошли, не оставшись в памяти. Теперь предстояла финальная схватка.

В финале противник предстоял серьезный, опытный и, по всему было видно, готовый побороться за свой чемпионский титул. Этот не ринулся в атаку очертя голову – первыми захватами обменялись, как бы разведывая, пытая возможности друг друга. И вот наконец серьезная попытка: противник захватом за ногу и за куртку поднимает его в воздух. Удалось-таки вырваться и упасть на живот. Ничего страшного, но все-таки сбит ритм схватки. Надо собрать все силы и остановить это нападение. Ты это умеешь, ну-ка соберись! Ага, вот она – промашка соперника: уже решил, что побеждает, и на секунду потерял бдительность, пошел на заднюю подножку без подготовки. А мы сопернику в ответ – подхват под обе ноги, и он на спине. Победа!

* * *

Мужчина в кресле авиалайнера чуть заметно улыбается уголками губ: а все-таки интересно снова и снова смотреть на все это со стороны, комментировать, подавать мысленные реплики, словно разговаривая с соперником. Тому парню на борцовском ковре это и в голову бы не пришло. Да и вообще – успевало ли что-нибудь приходить ему в голову? Его тренированное тело как бы само чувствовало на полсекунды вперед все уловки противника и мгновенно выдавало нужные ответные реакции.

* * *

Дремота крутила свое кино: парень, выигравший финал, увидел рядом с собой почтиительно улыбавшегося тренера и того, кому предназначалась эта улыбка – чиновник от спорта, важное снисходительное лицо, не раз виденное на экране телевизора. Его слегка потрепали по плечу и одобрительно отозвались: «Великолепная боевая машина!»

Он и глазом не моргнул – уже умел держать при себе реакцию на то, что другого бы передернуло. Но в шумном автобусе по дороге в гостиницу и потом, лежа на скрипучей

кровати в номере, все пережевывал мысленно эти слова. Почему-то вспоминались раскрасневшиеся от самогона рожи деревенских дядек, стравливавших в драке пестрых бойцовых петухов. И (уж вовсе ни к чему) картинка из учебника по начальной военной подготовке с подписью: «БМП – боевая машина пехоты».

Он снова и снова видел перед собой самоуверенное, снисходительное лицо, и наконец его все-таки внутренне переделало. Он ненавидел таких... Нет, не то. Он просто твердо знал, что не хочет никогда больше чувствовать на своем плече ничью властную, руководящую руку – руку собственника, владельца, хозяина.

До сих пор ему просто нравилось побеждать, не размышляя над тем, он ли так хорошо владеет своим телом или оно в решающие моменты как бы владеет им, действуя, что называется, «на автомате». Теперь он вдруг понял, что если быть только «боевой машиной», всегда найдется кто-то, захотевший тобой по-рулить. Он должен раз и навсегда разобраться, за что он обязательно рванется на драку – рванется сам, не размышляя ни об опасности, ни о собственной жизни. И разобраться лучше сейчас, не откладывая, потому что в схватке, понятно, уже не до размышлений.

Дремоту прервал голос стюардессы, призывавшей застегнуть страховочные ремни. Лайнер садился на дозаправку. Женщина рядом побледнела и судорожно вцепилась в ручки своего кресла – видимо, плохо переносила посадку.

– А вы представьте, что вы сами сажаете всю эту махину, – негромко посоветовал он. – Ну, пошли: руль от себя...

Самолет снижался с довольно крутой «горки», но побледневшая спутница уже слегка улыбалась, крепко прижмутив глаза. И вот он – толчок. Матушка-земля.

– Еще раз будем садиться, – предупредил он, усмехаясь в ответ на ее облегченную улыбку.

– Вы – да, а я уже прилетела! – торжествующе заявила она. И радость окончания полета была так велика, что ни нотки сожаления не прозвучало в ее прощальных словах. Она вся уже была там, в ночном аэропорту, где предстояло получать багаж, где ее, конечно, встречали.

А ему предстояла чашка тепленького кофе из рук заспанной буфетчицы и снова вползание по трапу в обжитое брюхо лайнера в черед полусонных пассажиров, позади грузного толстяка в помятой шляпе.

Теперь рядом с ним оказался седоватый человек непонятного возраста. Лицо волевое, но усталое, замкнутое. Несмотря на поздний час, новый сосед, видимо, собрался поработать: развернул солидную кожаную папку с бумагами. Слегка скосив глаза, можно было разглядеть какие-то газетные вырезки, листы с машинописным текстом и, наконец, сложенные вчетверо не то листовки, не то плакаты, на которых угадывалось все то же волевое, но, кажется, изначально усталое лицо. Из обрывка заголовка крупно высвечивалось слово «ВЫБОРЫ».

Подумалось: «Вот бедолага... На выигравшего он не похож». Однако дальнейшее любопытство могло быть замечено и становилось неуместным. Да и сон брал свое. Но мозг отказывался быстро расстаться с новыми впечатлениями: и всплывало что-то знакомое, но никак не хотевшее вспомниться до конца...

...Интересно все-таки, почему обстановка телевизионных предвыборных дебатов в большинстве случаев так убого стандартна? Одни и те же столики и стулья на стальном сером фоне, в лучшем случае веточка какой-нибудь зелени в вазочке. Так сказать, никаких отвлекающих факторов. Господи, было бы от чего отвлекаться! Говорильня эта уже поднадоела, если не всем, так большинству из тех, кто еще остался у телевизора и не переключился на кино, сериал или развлекательные программы. И порой кажется, что политики на телестудии из вечера в вечер встречаются одни и те же, и даже лица у них похожи.

У ведущего вид озабоченного гостеприимного хозяина. Того гляди довольно потрет ручки и подхихикнет: «Ну-с! Начнем, пожалуй». Не хватает только спортивного свистка: «К бою!»

Почему-то запомнились именно эти двое: молодой кандидат и его противник – чем-то похожий на своего собеседника, почти одного с ним возраста, но какой-то желчный, агрессивный. Он, конечно, сразу ринулся в атаку, едва дослушав вступительные фразы «рефери». Свалил на противника вину за все нынешние «беды и страдания народные» (любимый при таких наскоках оборот). Стал эти страдания перечислять в масштабах всего государства.

Ведущий нервничает, поглядывает на часы – эфир же прямой, времени немного – пытается вставить конкретные вопросы насчет программы. Не тут-то было: желчного понесло. Ты смотри-ка, уже на личности переходит.

А его собеседник что же? Сидит себе, смотрит противнику куда-то между глаз и лицо сделал ну совсем пустое – ничего на нем не прочтешь – ноль эмоций.

Так. Тот, что выступает первым, уже пальцем указательным на соперника нацелился, обвиняет: «Вот такие, как вы, прохиндеи, и довели всю страну!»

И вдруг противник твердо, но негромко его прерывает: «Подождите. Хватит. Оскорбить меня вам все равно не удастся. Что вы имеете лично ко мне: конкретно, по существу?»

Ага, не ожидал, что будет «стоп!». Рассчитывал на возражения, ответные обвинения. Замешкался, стал рыться в бумажках, вспоминать компромат, а оппонент уже овладел паузой и рассказывает о своем понимании местных проблем, словно и не было предыдущего монолога. И вообще словно это он один здесь в студии.

Тот еще пытается взять слово – не успел же сказать ничего позитивного в запале. Но ведущему он, видать, тоже всю передачу чуть не запорол, и тот его только ладошкой вежливо приостанавливает: не мешайте товарищу высказываться.

Так и закончил выступающий кандидат под выразительные взгляды ведущего на наручные часы. Все. Время истекло. Титры. Государственный флаг. Бодрая музыка.

Какая там музыка – это будильник «Ориента» на руке, не сообразившись с переменной часовых поясов, просвистел незамысловатую мелодию побудки. Пришлось открыть глаза, покоситься на соседа, готовясь к извинениям. Но тот спал со своей раскрытой папкой на коленях. Однако все равно уже светало – лайнер летел на восток, навстречу встающему солнцу.

Бумаги из папки соседа потихоньку сползают к самому краешку, вот-вот окажутся под креслом. А будить жаль. Также вот, наверное, не успел человек донести до народа свой по крохам собранный обвинительный материал... Однако бережет – то ли надеется на какой-то следующий раунд, то ли рассчитывает одарить сенсацией падкое до «жареного» изданию.

И вдруг в тишине салона, под встающий рассвет запоздало осенило: та телевизионная схватка... Ведь вся разница в том, что происходила она не в спортивном зале, да и другою была цена победы. А приемы, в сущности, те же – останови противника, удержи его в этом положении и обрати против него его собственный напор.

И тут же подумалось: а нужна ли была та телевизионная схватка? Добавила ли она кому-нибудь избирательских голосов? Или все дело в личном ощущении победы, в удовлетворенном самолюбии? Разве всякое противоречие решается боем? Ведь как ни спорь, а по жизни остались и деятельная правда кандидата, и обиженная боль «за державу» его соперника. И решить это противоречие – вопрос времени.

* * *

Эти размышления окончательно прогнали сон. Да, в сущности, пора было уже готовиться к завершению перелета – не худо бы достать и свою заветную папку – с материалами

предстоящих переговоров, проектами соглашений. Еще раз обновить в памяти цифры. Хотелось предусмотреть ход переговорного процесса, перебрать мысленно возможные доводы. Но он уговорил себя не делать этого – не стоило заранее загонять себя в какие бы то ни было схемы.

* * *

Страна начиналась с международного аэропорта Нарита. Здание удивительно напоминало Шереметьево, разве что таможенники здесь были, в отличие от наших, подчеркнута улыбчивы. Его встречали из посольства, остальных поджидали рейсовые автобусы или личные машины, припаркованные на автостоянках. Предстояло около семидесяти километров пути.

Занятый предстоящими переговорами, он рассеянно отвечал на вопросы встречавших и с любопытством рассматривал бегущие за окном лоскутные рисовые поля, бамбуковые рощицы, разноцветные черепичные крыши крестьянских домов.

Потом замелькали на указателях названия столичных районов: «Гиндза», «Сибуя», «Уэно». Пейзаж, как на другой планете: вровень с бетонными эстакадами плывут мимо надземные скоростные дороги, крыши, щедро увешанные огромными рекламными щитами, электронными часами с названиями известных фирм. Скорость машины все уменьшается, и чем ближе к центру, тем чаще приходится перебираться из затора в затор.

Пытаясь скрасить путь, кто-то из посольских берет на себя роль гида: рассказывает, что столица начинала строиться, копируя планировку города Киото, а тот, в свою очередь, воздвигался по древним китайским канонам градостроительства. Оказывается, у древних китайцев к северу от города должна быть гора, к югу – большое пространство воды, к востоку – река, а к западу – большая дорога. Любопытно, но он слушает вполуха, занятый мыслями о предстоящих переговорах.

За этими размышлениями как-то незаметно промелькнули и вселение в отель со всей его неевропейской спецификой, и экзотика национальной кухни в ресторане. Конечно, его и не пробовали угощать блюдами из «фугу» – изощренно приготовленного ядовитого иглобрюха, – но в другое время он больше отдал бы должное, скажем, «сукияки» – тончайше нарезанным ломтикам говядины, тушенным в чугушке с грибами, соевым творогом, репчатым луком и листьями съедобной хризантемы в пикантном, сладковатом соевом соусе.

И во время дневного отдыха, и оказавшись вечером в своем номере, в постели, он все еще вспоминал те многочисленные наставления, которые получил перед отлетом дома и здесь, во время деловой беседы с консультантами из посольства. Особенно много внимания уделялось во время этих инструктажей, казалось бы, сущим пустякам.

– Ты смотри, визитки не забудь! И чтоб по всей форме – со всеми чинами и должностями, чтобы фирма наша была четко обозначена. Как будешь представлен, так соответственно с тобой и общаться будут.

– Рекомендации тебе дали? Ну-ка покажи, от кого. Ну, этих здесь уважают, сойдет. С новичком без рекомендаций тут и пустяковой сделки не заключат.

– Пока они говорят, не жди, пока все переведут – вклинивайся, хоть по-английски, со всякими пустяковыми репликами: «Ах, так?», «Да, да», «В самом деле?» – это значит, что слушаешь и понимаешь.

– Помни: они «нет» не любят говорить. Заведут тебе что-нибудь вроде: «Я прекрасно понимаю ваше идущее от сердца предложение, но, к несчастью, я в таком положении, что не имею полномочий рассмотреть проблему в нужном свете, однако я обязательно подумаю над тем, что вы предложили, и рассмотрю это со всей тщательностью, на какую только спо-

собен». Не вздумай понять это как временную отсрочку – ждать будешь до второго пришествия. Тебе только что отказали.

И пошли рассказы о том, как недавно сорвалась здесь сделка у американцев: японцы слушали-слушали, кивали-кивали, а как дело дошло до существа, оказалось, совершенно на разных деловых языках говорят. Полное непонимание. Кто-то даже анекдот рассказал о том, как чукча в фактории меха продавал – вот, мол, и тут так же надо действовать. Анекдот не запомнился, понял только, что действовать советовали боковыми намеками, с хитринкой, не скупиться на похвалы, не жать напрямую.

И еще посоветовали:

– Если дело затягивается, не вздумай переть напрямую к ихнему «шефу» – мол, даст команду – и все быстро решат. Здесь тебе не тут, у нас. Сверху ничего принято не будет, пока снизу все не проработают.

Понять-то понял, а в мозгах все окончательно перепуталось. И, возможно, мог напорить в этих переговорах что-нибудь, если бы не вмешался человек, спокойно молчавший до сих пор в посольском кабинете, где велся разговор.

– Николай Васильевич Мурашов, – представился он. И по тембру голоса, по тому, как привстал, церемонно поклонившись, стало ясно, что человек очень немолод. Но глаза острые, живые, и коротенькая щеточка седых усов топорщится вполне бодро. – Вы мне позвольте, – обращается он к наставлявшим, – поговорить с товарищем поподробнее?

Сознаюсь, это мне, автору этой книги, довелось тогда заключать в Токио сделку о морских перевозках. Опускаю подробности переговоров, скажу только, что очень мне помогли и умение сконцентрироваться, и навык не втягиваться в конфликт, и воспитанное на спортивных тренировках инстинктивное умение понимать противника без слов. А точнее, ощущать то, что стоит за словами: настоящая сила позиции или неуверенность; готовность пойти на уступки или ловушка для новичка.

* * *

С Николаем Васильевичем был разговор по существу. Он сразу все поставил на свои места: что должно стать главным в переговорах, каких итогов добиваться, на какие уступки пойти можем. Подчеркнуто было, что здесь, в Азии, цены могут варьироваться в довольно большом диапазоне. Уровень наших запросов должен быть достаточно высоким – а то решат, что мы в ценах не ориентируемся. И тактику мы с Николаем Васильевичем подработали: не стесняться задавать вопросы, вести по ходу записи – когда говорят, обязательно могут проговориться. Вот это надо использовать против оппонентов. На их дешевые цены сразу не клевать – соглашение подпишут, а потом накрутят такие надбавки, косвенные налоги, таможенные сборы, что и рад не будешь.

Говорил Николай Васильевич неспешно, не поучал, а вроде советовался:

– Вам же не победителем домой вернуться важно, а сделку заключить, да такую, чтобы и партнеры в обиде не остались, чтобы они с нами дальше сотрудничать захотели. Ведь так? Значит, если конфликт наметится, его скорее закруглить надо, чтобы вы с партнерами не друг против друга выступали, а вместе – против возникшей проблемы.

Сразу вспыхнула догадка и вырвалась вслух: «Айкидо?!»

Николай Васильевич взглянул прямо в глаза, усмехнулся: – Занимались?

– Нет, другими видами единоборств.

– Все равно. Значит, должно у вас получиться. Ну, с Богом!

Словом, сделку мы заключили и еще не раз сотрудничали с этой фирмой. И уже мои рекомендации помогали другим занять в переговорах подобающее место.

Я сердечно поблагодарил Николая Васильевича за помощь и распрощался, искренне полагая, что, скорее всего, никогда не увижусь с ним и, тем более, не доведется мне больше побывать в Токио.

Но жизнь судила иначе и через четыре года снова привела меня в Японию в качестве одного из руководителей нашей спортивной делегации.

В свободное время, хотя и было его немного, захотелось поближе узнать город, который так стремительно промелькнул передо мной когда-то за окном автомобиля. И несмотря на занятость, я все-таки ухитрился побродить в одиночку в окрестностях нашего отеля. Тем более, что помещался он в префектуре Канда – в Токио это средоточие университетов, институтов, училищ, студенческих общежитий, дешевых столовых, а также бесчисленных книжных магазинов и лавок букинистов. Здесь мы были к месту в наших спортивных куртках и джинсах, да и по возрасту не слишком отличались от здешнего студенческого народа.

И вот однажды во время одной из этих вылазок я вдруг услышал такой родной и такой невероятный здесь колокольный звон. Он неспешно и торжественно плыл над Кандой, не похожий ни на печальные удары колокола Хиросимы, ни на тоненький перезвон колокольчиков на буддийских пагодах. Я, как замороженный, пошел на этот звук, рискуя заблудиться в многолюдных улицах. Не могу сказать, долго ли я шел, мысленно упрасывая колокол только не смолкнуть, пока я до него не доберусь.

Многолюдная улица покрутила меня в своих водоворотах и вывела к подножию холма. (Позднее я узнал, что по-русски зовется он Сурагадайским.)

Там, на холме, высился храм. Это был собор самой что ни есть привычной русскому глазу архитектуры. Золотой купол был торжественно увенчан православным крестом.

Видно было, что живет храм не музейной, а своей настоящей соборной жизнью: колокол созывал прихожан к началу службы.

Меня обогнала группа туристов. Защелкали затворы фотоаппаратов, защebetала по-французски, мило картавя, хорошенькая японочка-гид. Наверное, студентка отсюда же, с Канды.

Вслушиваясь в ее пояснения, я кое-как понял, что собор был заложен в мае 1885 года и строился семь лет по плану русского архитектора Шурупова. Воздвигнут храм в византийском стиле. Высота его тридцать метров, и когда-то он был одним из самых величественных зданий столицы. Пока не выросли небоскребы современной застройки, купол и крест были видны за двадцать километров. Собор возвышался даже над императорским дворцом, а колокольный звон разносился по всей Канде – тогда еще кварталу мясников и прочих торговцев. Разрушенный большим землетрясением в сентябре 1923 года, он был через шесть лет восстановлен в прежнем виде.

– Любуетесь? – вдруг услышал я за собой русскую речь и, обернувшись, с удовольствием узнал Николая Васильевича Мурашова – моего знакомого по первому прилету в Японию. Он почти не изменился за то время, что мы не виделись – разве что прибавилось седины в короткой щеточке усов. Да вот трость появилась. Но он на нее не опирался, держался прямо, не горбясь. Светлая спортивная куртка и темно-синий берет ничем не выделяли его из вольного студенческого племени Канды. И я впервые заинтересовался его возрастом, решив про себя при случае выяснить, откуда в нем эта не нынешняя породистость и явно не современная манера общения.

– А я вот к вечерне иду, – сообщил он. И это прозвучало почему-то просто и естественно, хотя в жизни мне не встречались работники наших посольств, неукоснительно посещавшие церковь.

– Хотите, войдем вместе, – пригласил между тем Николай Васильевич.

Я шагнул вслед за ним в притвор собора, прошел внутрь, и после тесноты и сумерек городских улиц море простора и света мягко приняло меня.

Я огляделся. Это было совсем не похоже на помпезную роскошь тех католических соборов, которые мне доводилось посещать туристом. Ничто не напоминало и виденные недавно буддийские храмы. Лики святых на иконах были выписаны по древнерусским образцам, без малейшей стилизации в японском духе.

Однако прихожане были в большинстве японцы, и это казалось мне загадкой. Между тем служба шла своим чередом: пел хор, пахло ладаном из кадила и теплым свечным воском. Николай Васильевич, видимо, углубленный в молитву, более не обращал на меня никакого внимания. И я уже начал было подумывать, что самое бы время потихоньку пробираться к выходу.

И тут обнаружил, что уходить мне не хочется. После суеты последних токийских будней, многолюдья огромного мегаполиса, напряжения от необходимости общаться на чужом языке мою душу вдруг охватил какой-то детский, ничем не замутненный покой. Я остался.

Шло время – какое-то немереное, несчитанное, и я вдруг почувствовал то состояние, какое возникает иногда на тренировках, во время медитации, когда сосредотачиваешься и уходишь в себя. А может быть, наоборот – растворяешься: нет ни мыслей, ни желаний – только глубокое равновесие со всем миром или со всей Вселенной. Что-то великое, святое коснулось вдруг моей души, и никакими словами не передать этого касания.

Я очнулся оттого, что Николай Васильевич тихонько тронул мою руку. Мы вышли и некоторое время молча пробирались в уличной толпе.

– Удивительно, – сказал я наконец, когда собор почти скрылся из вида, – откуда здесь это чудо?

– Видите ли, в Японии кроме синтоистов, буддистов и даже католиков есть и православные христиане. А сама история храма – это, по-моему, собственно, история человека. Зовут его святой Николай Японский, хотя он русский, наш, коренной русак со Смоленщины. Я рассказал бы вам о нем, да сам знаю лишь то, что слышал из других уст, отрывками. Я думаю, вам лучше по приезде домой обратиться к митрополиту Кириллу: и Смоленщина, и Калининград – как раз его епархия.

– Как, вы и это знаете? – удивился я.

– Так мы же с вами земляки, – рассмеялся Николай Васильевич, – и похоже, что в Калининграде я буду раньше вас: вам здесь еще быть до конца недели, а я отбываю через два дня. Кончилась моя служба при посольстве – меня попросили некоторое время побыть здесь консультантом, да время это подзатянулось. Вот и теперь, чтоб был еще под рукой, предлагают квартиру во Владивостоке. Но нет, соскучился я по Балтике, по Виштынцу, по Куршской косе. К тому же и семья у меня там – сын служит на флоте и дочка в Черняховске замужем за военным.

Мы разговорились о доме, перебрали известные в городе фамилии, но близких общих знакомых не нашлось.

– А знаете, – сказал Николай Васильевич, – ведь у нас с вами больше точек соприкосновения, чем вы думаете. Вы же самбист? А помните ли вы, что один из корней самбо здесь, на этой земле?

– И вы тоже, судя по нашей первой встрече, причастны к восточным боевым искусствам?

– Как же – занимался и джиу-джитсу, и дзюдо, и ушу, и самбо. Да что говорить «занимался» – японцы, знаете ли, уверяют, что если кто ступил на этот Путь – «До», тому суждено идти по нему до смерти.

«Интересно, – подумал я, вспомнив недавнее посещение собора, – как в нем уживается эта чисто восточная мистика с православием?» Я осторожно спросил его об этом, но он уклонился от прямого ответа:

– Вот вернетесь домой, коли будет охота, навестите старика. Жизнь у меня длинная, бывало в ней всякое, если интересно, кое-что могу рассказать.

Он назвал адрес на одной из тех старых, уцелевших от бывшего Кенигсберга улочек, по которым я любил бродить в любое время года и при любой погоде.

Мой отель был уже перед нами. Зайти он отказался. Мы пожали друг другу руки, и он влился в людской поток, спешащий к метро. Я посмотрел ему вслед, припомнил все, что мне рассказывали о набитых битком вагонах токийской «подземки», и еще раз задал себе вопрос о его возрасте. Было очень любопытно и то, что он упомянул о своей причастности к единоборствам: я уже в то время всерьез подумывал о том, что история моего любимого единоборства – самбо – в сущности, никем как следует не описана от истоков до нынешнего состояния. Кроме того, стала уже расхожей фраза, что самбо – это больше, чем спорт. И мне давно хотелось разобраться, что же стоит за этими словами, наполнить эту фразу реальным содержанием.

* * *

Когда я наконец возвратился домой, повседневные заботы так закрутили меня, что никак не удавалось ни вернуться к японским впечатлениям, ни испытать снова, хотя бы по памяти, то удивительное состояние, которое охватило меня в токийском православном храме. И конечно, со дня на день откладывал я встречу со своим тамошним знакомцем, и не предполагая, какую большую роль сыграет она в моей жизни.

Между тем в местных телевизионных новостях мелькнуло сообщение об очередном приезде в Калининград митрополита Кирилла, и возникло острое ощущение, что у меня есть какое-то совершенно неотложное дело к нему. Увидев затем на экране белоснежный клобук преосвященного, умное волевое лицо и пронизательные глаза, я словно услышал голос Николая Васильевича Мурашова, который называл имя святого Николая Японского и советовал разузнать о нем именно у митрополита Смоленского и Калининградского.

Наша встреча состоялась. То, что рассказал мне собеседник, поразило мое воображение. Я будто видел перед собою мальчика, а потом юношу из глубины России, которому предстояло стать святым на чужой земле. Потрясло и другое: значит, апостольство – это не только удел древнехристианской церкви? Такое духовное совершенство возможно и в нашу эпоху?

2. Особая миссия **(По рассказам митрополита Смоленского** **и Калининградского Кирилла)**

Человеческая святость не есть совершенство, ибо совершенен и абсолютно свят только Господь. Но святость – это пламенное стремление к совершенству. Это земной крестный Путь, на котором забота о людях, обращенных к Богу, великая любовь к ним выше, чем попечение о собственном спасении. Таким был и архиепископ Николай. Недаром японские христиане зовут воздвигнутый им собор: «Николай – До» – «Путь Николая».

Но всему этому еще быть впереди. А пока было самое начало августа 1836 года, и, наверное, пахло созревающими яблоками в селе Егорье-на-Березе Вельского уезда Смоленской губернии, когда в большой семье местного дьякона Димитрия Ивановича Касаткина появился на свет второй сынок.

Хлопотала около роженицы повитуха, удивляясь, как легко справилась дьяконица Ксения Алексеевна со своим материнским делом.

– Да и то, вон вы какая, матушка, рослая да сильная, – польстила бабка, не надеясь, однако, что увеличат мзду. Всем было ведомо, что у Касаткиных большим достатком и не пахнет. Зато люди хорошие.

– Никто, как Бог, – поправила повитуху роженица, светлыми глазами всматриваясь в красное личико спеленатого младенца, – на все Его святая воля.

Назвали мальчика по деду, Иваном. И, думается, выпало на его долю сполна все, чем богаты ранние годы любого деревенского мальчишки. Было детство, как водится, босоногое, и всю жизнь, вспоминая, он чувствовал ногами нагретые солнцем, скобленные половицы отцовской избы; теплую весеннюю землю возле крыльца; обжигающий иней осенней травы, пожухлой после первых заморозков.

Радовали нехитрые деревянные игрушки, привезенные с ярмарок или выстроганные отцом: смешные медведь с мужиком пилят бревно; обезьянка кувыркается на двух палочках. И еще тряпочный мячик на резинке, который можно стучать ладошкой; бумажный ветрячок на длинном шесте; змей с мочальным хвостом, который ловит ветер. И, конечно, глиняные свистульки всех сортов – уточки, петушки... А замороженная доска – «ледянка», на которой так весело лететь с горки – и на спине, и сидя, и на пузе!

Но самым сильным впечатлением оставались те дни, когда ходили в церковь. Мать – высокая, нарядная, каждый раз как-то по-новому строгая и просветленная. Дети – Оленька, старшая, и Ванюшка – особенно тщательно умытые и причесанные. А когда чуть подрос, то и младший Васятка на руках у матери. И отец – совсем не тот, не домашний – в блестящей ризе, не говорящий, а возглашающий своим низким густым голосом.

Именно там, в храме, Ванюшка однажды понял, что надо почитать отца и мать не только потому, что они – родные, но и потому, что они раньше, чем он, узнали о Господе Боге; прежде своих детей увидели божий свет и узнали, что все это создание Всевышнего.

Наверное, в раннем детстве занимало только это, внешнее. Но он подрастал, и рядом с ним все время была мать – глубоко верующая, озабоченная не только здоровьем и прокормлением своих детей, но и духовной их пищей. Остались на всю жизнь тепло материнской руки на его голове, родной голос, учивший: «Повторяй за мной: “Отче наш, иже еси на небесех...”»

Мать учила детей жить по Божьим Заповедям уже своим существованием: как можно, например, было сказать неправду или утаить что-то от внимательных материнских

глаз, если не однажды было проверено – мать все равно узнает, что солгал. Да еще и подтвердит, что любая ложь всегда рано или поздно «сама себя скажет» – будет раскрыта.

Был рядом отец, тоже для своих детей воплощение силы и доброты. Ведь подумать только – когда однажды, когда потребовался ремонт приходской церкви, дьякон Димитрий Касаткин сам прошел со сбором пожертвований семь губерний пешком. Своим примером отец учил смотреть на труд как на благословение Божие, не искать от него только личной материальной выгоды.

Так изо дня в день торилась родительской неусыпной заботой и любовью, их собственным повседневным примером та малая тропинка, которая потом стала его крестным Путем.

Конечно, были в этом детстве и свои огорчения, обиды, болезни, и, наверное, спроси его кто тогда, вряд ли бы Ванюшка назвал свои дни счастливыми. Но не было и беды. Она пришла – черная, затмившая весь белый свет – когда нежданно скончалась мать. Казалось, умирают только старики, немощные, а она такая крепкая, сильная...

– Молодая, всего тридцать первый годочек пошел, еще жить бы да жить, – сетовали односельчане. – А младшенькому-то сыночку, Васятке, и всего годок...

Но строгий, почерневший от горя отец отвечал и себе, и детям, и соседям, собравшимся на похороны: – На все Его святая воля.

Как же осиротела разом семья Касаткиных! Много, оказалось, держалось в ней незаметными домашними трудами Ксении Алексеевны – и не только опрятность детишек, ухоженность самого дьякона или чистота и приглядность в доме. Оказывается, и достаток в нем, пусть малый, был от рачительности хозяйки, ее женского русского умения все, что надо семье, создать «из ничего». Только разве назовешь «ничем» непрестанный труд и заботу любящей души?

Хотя вряд ли мог размышлять обо всем этом пятилетний осиротевший Ванюшка. Ему просто отчаянно не хватало теплой материнской руки, запаха матери, ее голоса, ласки.

А жизнь продолжалась. Шли годы. Подрастали дети. И несмотря на то, что перебивались по-прежнему с хлеба на квас, Димитрий Иванович, поглядывая на рослого (в мать) Ванюшку, все чаще вспоминал слова жены: «Смышленный у нас второй сынок, отец. Даст Бог, подрастет – учить надо».

И когда пришла пора, собрал-таки дьякон сына в Бельское духовное училище. Хоть и не от материнской неги, а все-таки из родного гнезда попал Ваня Касаткин в буйную, суровую школу тогдашней бурсы. Не с умилением, а с тяжелым чувством вспоминал он тот день, когда, снявши с него детскую рубашонку, одели его в коротковатый не по росту сюртучок, перешитый деревенским портным из отцовского старого подрясника, и отвезли в училище.

Обидными насмешками и каверзами испытывали новичка, как теперь сказали бы, «деды» бурсы. Но оказался он не ябедой, умел и постоять за себя. «Обживемся», – думал он в самые горькие минуты. А все-таки порой нестерпимо хотелось домой, самыми счастливыми казались минуты встреч с близкими.

Недаром на каникулы наш бурсак хаживал домой аж пешком за сто пятьдесят верст, благо здоровьем и силушкой Бог не обидел. А поля на Смоленщине немереные, а леса глухие, с волчьими огоньками в чащах. А на Пасху реки разливаются и овраги играют мутными потоками. А под Рождество трещат морозы или вьюги переметают проселочные дороги...

Зато на летних ваканциях опять на целых три месяца был родной дом, бляение овец и скрип колес под окнами, церковный звон в ясные утра. И вспоминалось, как еще при матушке, тоже летом, носили икону крестным ходом по деревням и звонили целый день колокола то в одной деревне, то в другой. И он, совсем еще малец, тоже ходил за иконой, босиком, без шапки, подхваченный волной общей людской радости.

Из него даже бурсацкое житье не выбило этой молодой, почти детской жизнерадостности. Он и в училище привлекал к себе окружающих живым умом, одаренностью, общи-

тельностью. А лишения ему были привычны от рождения и не стоили того, чтобы на них сосредоточиваться. Видимо, умел он уже тогда, отодвинув житейские мелочи, постигать то главное, чему учили в училище, и окончил его, как тогда говорили, первым учеником.

Окончив первым духовное училище, мальчик поступил в Смоленскую духовную семинарию. Как вспоминал сам он впоследствии, железных дорог тогда не было, и, не имея денег на подводу, он вынужден был с другими беднейшими семинаристами тащиться пешком более ста пятидесяти верст, чтобы попасть в стены семинарии.

Суровая семинарская жизнь еще больше закалила одаренного юношу. Нашлись, разумеется, в среде тогдашних учителей Вани Касаткина и внимательные, требовательные наставники, уповавшие не только на мертвящую разум и чувства зубрежку. Они готовили его юную душу к духовному творчеству, к тому дальнейшему пути, который ему предстоял.

А пока предстояла ему Петербургская духовная академия, куда он был направлен за казенный счет, потому что и среди своего выпуска Смоленской семинарии был он также одним из первых – лучших.

* * *

Помню, во время нашей беседы я не удержался и спросил владыку Кирилла:

– Все это очень интересная человеческая судьба, но, простите, пока я не вижу, где же начинается превращение слушателя Духовной академии Ивана Касаткина в будущего святителя Николая? И как же быть со страшными «Очерками бурсы» Помяловского? Этот писатель-разночинец сам ведь был бурсаком. Ведь он пишет, что бурса тогдашняя калечила молодые умы, некоторые выходили из нее приспособленцами или атеистами. Он дает страшные картины «дедовщины», безотрадные портреты невежественных и вечно пьяных преподавателей. Ведь было же все это?

– Не буду отрицать, но тот же самый Помяловский, если помните, писал, что «остаётся меньшинство – самые умные люди из семинаристов, цвет бурсацкого юношества». В академии и собиралась такая «элита».

Что же касается, как вы говорите, превращения, то думается, что в таких случаях вся жизнь, с рождения, как бы подготовка исподволь к будущему крестному служению – подготовка, о которой порой не догадывается и сам избранный.

Да вот я вам процитирую, как об этом вспоминает в своих записках сам святитель: «Будучи от природы жизнерадостен, я не особенно задумывался над тем, как устроить свою судьбу. На последнем курсе Духовной академии я спокойно относился к будущему, сколько мог, веселился и даже отплясывал на свадьбе у своих родственников, не думая о том, что через несколько времени буду монахом. Проходя как-то по академическим комнатам, я совершенно машинально остановил свой взор на лежавшем листе белой бумаги, где прочитал такие строки: “Не пожелает ли кто отправиться в Японию на должность настоятеля посольской церкви в Хакодате и приступить к проповеди Православия в указанной стране”. “А что, не поехать ли мне?” – решил я, и в этот же день за всенощной я уже принадлежал Японии».

* * *

– Так просто? – изумился я. – Совершенно случайно увидел, мгновенно решил – и вот уже судьба предопределена на всю жизнь? А если бы просто вошел не в ту комнату?

Владыка Кирилл улыбнулся:

– Ну, во-первых, думаю, запрос русского консула в Хакодате Гошкевича, на основе которого была написана эта бумага, все равно не миновал бы Ивана Димитриевича Касат-

кина – ведь он числился одним из самых способных в академии. А консул сообщал Святейшему синоду через Азиатский департамент Министерства иностранных дел, что требуется «не иначе как из кончивших курс Духовной академии, который мог бы быть полезным не только своей духовной деятельностью, но и учеными трудами. И даже свою частную жизнь в состоянии был бы дать хорошее понятие о нашем духовенстве не только японцам, но и живущим здесь иностранцам... Настоятель православной церкви может также содействовать распространению христианства в Японии».

Гошкевич знал, о чем говорил: сын белорусского священника, учителя церковно-приходской школы, он также закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, после чего был направлен в Китай, где десять лет прослужил в составе русской православной миссии. Одаренный лингвистическими способностями, он изучил в Пекине китайский, маньчжурский, корейский и монгольский языки, стал автором первого русско-японского словаря. Много лет он вел астрономические и метеорологические наблюдения, отчеты о которых посылал в обсерваторию в Пулково. Гошкевич не был кабинетным ученым – он трижды обогнул земной шар на парусных судах. Так что вполне понятна та ревнивая требовательность, с которой он относился к кандидатуре будущего консульского священника.

Определенный интерес к Японии у Ивана Касаткина был и раньше, недаром в его библиотечном формуляре числилась замечательная книга: «Записки флота капитана Головнина о приключениях его у японцев в 1811, 1812, 1813 годах с приобщением замечаний его о Японском государстве и народе», изданная в Санкт-Петербурге в 1816 году. Жило, видно, в душе смоленского юноши любопытство к дальним странам и народам.

Василий Головнин однажды, путешествуя на шлюпке в поисках пресной воды для корабля, причалил к японскому острову, был схвачен стражей, бежал и скрылся близ берега в японской рыбацкой семье. Снова пойманный, он пробыл два года в плену. Наконец в Токио он смог через голландского матроса объяснить все обстоятельства, приведшие его на японскую землю, был освобожден и вернулся на родину. Его приключения, а главное, подробные описания неведомой страны произвели на молодого семинариста неизгладимое впечатление.

– А потом, – продолжал мой собеседник, – я попрошу вас еще раз внимательно перечитать тот отрывок из записок святителя, который я только что привел. Может быть, переломный момент только внешне наступил таким будничным и неприметным образом. Помните: в тот день молился он на всенощной. Видимо, в храме во время службы и произошло нечто, о чем святитель никому не рассказал, но что решающим образом изменило и определило его жизнь. Значит, он почувствовал, что Господь призывает его проповедать православную веру в Японии, что это и есть предназначенный ему Путь.

* * *

Я живо представил себе эту позднюю службу. И хотя на самом деле происходила она в академической церкви, почему-то увиделся мне Исаакиевский собор с его торжественной колоннадой. (Как оказалось позднее, когда я получил редкую и счастливую возможность познакомиться с изданными в Японии на русском языке дневниками святого Николая Японского, неслучайно мне привиделся именно Исаакиевский собор: спустя десять лет, в 1870 году, Владыка Николай посетил в этом соборе службу «Торжество православия», и, описывая эту службу, он упоминает, что был в соборе во второй раз.)

Слякотная петербургская ночь. Светится в потемках золотой купол Исаакия. А внутри немногочисленные молящиеся, свечи теплятся у иконостаса... И лицо юноши – русского богатыря статью – просветленное, строгое. Какой голос он услышал в ту ночь, чему не смог и не захотел противиться, когда так решительно обозначил всю свою дальнейшую жизнь?

На следующий день Иван Касаткин пошел к ректору академии и попросил его о постриге (принятии монашеского чина) и назначении в Японию. А ведь его предназначали к оставлению при академии и профессорской кафедре. Это решило его судьбу: дело в том, что кроме Касаткина охотников посвятить себя миссионерству оказалось еще человек двенадцать, но все при условии женитьбы. Он единственный заявил о решении принять монашеский чин, и это определило его дальнейшую судьбу.

Было известно, что он никогда прежде не думал о монашестве, хотя и знал, что будет на службе Церкви. В запросе консула ничего не говорилось о желательности монашества для будущего настоятеля церкви в Хакодате. Да и уезжавший оттуда священник был женат.

Почему же двадцатичетырехлетний юноша, в котором, казалось, играла богатырская силушка, по собственному признанию, жизнерадостный от природы, решился на такой шаг?

«Что-нибудь одно: или семейство, или миссия, да еще в такой дали и в неизвестной стране», – так объяснял он впоследствии свое решение. Ему было двадцать четыре года, и он все оставлял для Господа.

Сторонник миссионерской деятельности, ректор, епископ Нектарий, приняв просьбу юноши, все же счел необходимым напомнить ему:

– Вы ведь знаете, что христианство в Японии до сих пор запрещено и распространение его жестоко карается?

– Да, я знаю о возможных преследованиях. И все же благословите меня поехать.

И он получил это благословение.

Наверное, многие не понимали его, может быть, некоторые его и отговаривали: даже если не вырисовывается, может быть, сразу блестящая духовная должность в столице империи, как можно менять любой тихий приход, скажем, на той же Смоленщине, на опасности в языческой стране. Но он оставался спокойным и непреклонным. Убедившись в твердости решения юноши, ректор доложил о его просьбе митрополиту Петербургскому, и тот тоже дал свое благословение.

И вот первый шаг на том пути, который был сужден ему свыше: 24 июня в академическом храме Двенадцати апостолов он был посвящен в монашество.

Постригавший его епископ Нектарий нарек юношу Николаем (монашествующий утрачивал свое прежнее, мирское имя) и сказал: «Не в монастыре ты должен совершить течение подвижнической жизни. Тебе должно оставить самую Родину, идти на служение Господу в страну далекую и неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника, вместе с подвигом монашества тебе предлежат труды апостольские».

29 июня, в день первоверховных апостолов Петра и Павла, он был посвящен в иеродиаконы, а 30 июня, в день престольного праздника академического храма, – в иеромонахи.

И каждый из этих шагов все дальше отодвигал от него беззаботного смоленского паренька Ваню Касаткина. Даже взгляд его становился другим – углубленным в тот новый духовный мир, который отныне открывался ему – особый мир идей, знаний, добрых чувств. Отныне мудреная наука жить со всеми в мире и в любви становилась для него самой его натурой, освященной глубокой религиозностью.

* * *

В июле 1860 года иеромонах Николай отправился на место своего служения. Можно только догадываться о том, каким было его прощание с близкими, с родительским домом. С собою он взял Смоленскую икону Божией Матери, которую хранил всю свою жизнь. На его погребении ее несли перед гробом.

Уезжал отец Николай еще из России крепостной. А через год после его отбытия царь Александр Второй отменил на Руси крепостное право, за что и вошел в историю под именем

Освободителя. Это, впрочем, не спасло его от весьма своеобразной людской «благодарности» – бомбы народовольцев.

* * *

На этом мы пока и прервали нашу беседу, но мне еще многое предстояло узнать об апостольском служении святителя Николая, тем более что мой интерес к этому человеку возрос. До тех пор я знал, по упоминаниям старых людей, в том числе и моей бабушки, лишь Николу-угодника, к иконе которого прибегали со своими бедами большинство верующих, особенно по деревням.

Погруженный в повседневные заботы, я нет-нет да и возвращался мыслями к услышанному от владыки Кирилла, и все чаще рядом с раздумьями о Токийском православном соборе и его основателе всплывал в моей памяти тот, от которого я впервые услышал имя святителя – Николай Васильевич Мурашов. Было и еще что-то, связывавшее в моей голове воедино Мурашова и прочие токийские впечатления.

3. Собратья по борьбе

Чтобы разрешить эту загадку, я и отправился однажды вечером по названному мне калининградскому адресу. Телефон в моей записи не был обозначен, и я побаивался оказаться не в пору.

Однако, очутившись перед уютным старинным особнячком и увидев в окнах свет, горевший по случаю ранних осенних сумерек, я все-таки поднялся по двум потрескавшимся каменным ступенькам и нажал кнопку дверного звонка. Мне открыли, не справившись ни об имени, ни о цели посещения.

– Как же вы так беспечно живете? – попенял я, с удовольствием пожимая руку хозяина. Выглядел он по-домашнему уютно, в просторном свитере ручной вязки, но ничуть не утратил своей молодцеватой выправки.

– Да у меня редко кто бывает, кроме своих людей. Ну а коли кто не с добром пожалует, встретим соответственно, – улыбнулся он. – Ну давайте к столу: я как раз чаевничать собрался, невестка утром своего смородинового варенья принесла. Душистое оно у нее получается.

Он со сноровкой человека, привыкшего к одинокому житью, накрыл круглый стол клетчатой скатертью, поставил пару изящных, хрупких на вид чайных приборов.

– Японский фарфор? – догадался я.

– Да. Не удержался, привез. Дочка моя все к этому сервизу подбирается. Ну я отвечаю, что, мол, только в наследство.

Ополаскивая крутым кипятком такой же почти прозрачный чайничек с драконами, он лукаво осведомился: – Ну что, зеленого чая для полного воссоздания обстановки?

Я замешкался с ответом – не настолько уж я тогда еще привык к чаепитию по-японски, да и как пойдет к зеленому чаю хваленое смородиновое варенье...

– Вижу, вижу, – рассмеялся Николай Васильевич, – вы больше, поди, к индийскому привержены, со слоном.

Я сокрушенно развел руками. И в самом деле, несколько позднее пристрастился я к зеленому чаю, в полной мере оценив его животворную, бодрящую силу.

– Будет вам индийский, настоящий дарджилинг – из самого Тибета. Да вы чайную-то церемонию в Японии видели? Нет? А жаль – вам это было бы особенно интересно.

– Почему? – искренне удивился я.

– А как же – знаете, как по-японски называется чайная церемония? Тядо – «путь чая». Ничего не напоминает? Ну, навскидку?

– Дзюдо, айкидо, – почти машинально отозвался я.

– То-то же. А еще – бусидо: путь самураев. Думаете, случайное сходство, причуды языка? Ничуть, голубчик. Ведь подлинный-то смысл чайной церемонии состоит в том, чтобы обрести спокойствие, отвлечься от окружающей суеты, отгородить себя от всего постороннего. Только так можно довести мелочи чайного ритуала до совершенства. Недаром сама-то церемония пришла сначала ко двору японских императоров именно из буддийских монастырей.

– Своеобразная медитация? – догадался я.

– Конечно. Все средства хороши для того, чтобы собраться, сосредоточиться, суметь довести свои действия до автоматизма. Что-то вам знакомое, не так ли?

А вся чайная-то церемония по четыре часа длится, и не дай бог что-нибудь упустить или перепутать. А ведь еще при этом ведется приятный разговор, музыка звучит. Я-то не раз удостоивался присутствовать. Хотите, расскажу?

Я подумал, что не раз читал об этом в разных путевых заметках, но не хотелось обижать хозяина отказом, и я сказал:

– С удовольствием послушаю.

– У них ведь специальные школы тядо есть. Там учат, что сначала гостя настроить надо, подготовить. Входишь в крохотный японский садик, где у каждого камешка и каждой травинки своя история. Все это надо выслушать, всем полюбоваться.

Потом чайная комната – крошечная, на четыре татами: это значит на полу всего четыре соломенных циновки помещаются. Комнатой тоже надо некоторое время полюбоваться – икебаной, очагом со специальными душистыми поленьями (их пропитывают медом, камфарой, алоэ, анисом – ароматно и полезно), чайником.

Знаете, у нас вот сладости вприкуску к чаю едят, а там – до чаепития, чтобы, значит, вкус подготовить.

– Я слышал, что и сам чай у них в порошке, вроде растворимого кофе?

– Упаси вас бог при японце такое кощунственное сравнение сказать! Хотя это, вообще-то, правда: зеленый порошок. Только они его взбивают специальными приспособлениями в пену. И каждое движение от другого паузой отделено – такое священнодействие. А чашку как подают – на салфеточке, с поклоном. И так несколько раз. А потом еще надо выслушать историю чашки, чайничка, лаковой шкатулки для заварки, бамбуковой мутовки – и всем полюбоваться в отдельности...

Между тем подоспело и наше, российское, чаепитие – заварился чай. И, отведевывая с чайной ложечки душистое варенье, я рассказал хозяину о своей встрече с митрополитом Кириллом и поведал все, что узнал к тому времени о святителе Николае Японском.

– Да, – сказал он задумчиво. – Это самое начало его крестного пути. А мне довелось быть близко знакомым с человеком, знавшим отца Николая почти на краю его жизни. И этот человек вам тоже должен быть небезразличен. Знаете, кого я имею в виду? Основоположника вашего любимого самбо.

– Василия Сергеевича Ощепкова?! – поразился я. – Да ведь это личность почти легендарная! Знаменитый «русский японец»! Не раз слышал я о нем от Михаила Ивановича Тихомирова – президента Всероссийской и Международной федераций самбо.

– Да, с Михаилом Ивановичем я тоже знаком. Замечательный человек и отличный самбист. Вы знаете, в 1960 году нужно было на «зону» выставить команду по вольной борьбе. Он формировал сборную и вдруг обнаружил, что в его весе выступать некому. Те времена, когда он весил 38 кг, ушли в прошлое. Его вес стабилизировался где-то на 72–73 кг, и он «гонял» его в 68-м. На «зону» пришлось ехать самому, и тогда он с первого раза выполнил норматив мастера спорта по вольной борьбе. По самбо он дважды занимал призовое место «на России», но не хватало то две, то три победы над перворазрядниками. Через три месяца на чемпионате Москвы он стал мастером спорта и по самбо.

А в 1961 году он уже получил всесоюзную судейскую категорию, поскольку много судил по всем видам борьбы.

Я от него самого знаю, как он впервые пришел в самбо: однажды разговорились, он стал вспоминать, я просто заслушался, настолько это был живой, интересный рассказ... Я даже попросил его записать. Он принес несколько страничек – для начала. Думал я пристроить их в какое-нибудь спортивное издание через знакомых журналистов, да не получилось пока. Хотите, я вам покажу эти его воспоминания? Давайте отвлечемся, я пока еще чайничек вскипячу... Посмотрите, это, право, любопытно.

* * *

Николай Васильевич отыскал среди своих папок эти несколько страничек и я, устроившись поудобнее на диване, стал читать:

«В 1955 г. в химкинской средней школе вывесили объявление, приглашающее заниматься самбо в секции Московского областного совета «Динамо». Мне было тогда почти семнадцать, я учился в десятом классе, но весил 38 кг и в любом строю стоял последним. Федя Ионов, друг и сосед по дому, предложил попробовать записаться в эту секцию.

От подмосковного дома отдыха, где работала мама и жила наша многодетная семья, было довольно долго добираться и до школы в Химках, а уж до Дворца спорта «Строитель», куда приглашало объявление, была вообще даль несусветная. Однако мы поехали. Два с половиной часа в один конец: на электричке до Рижского вокзала, потом на трамвае до Цветного бульвара, к цирку. Там, во Дворце спорта «Строитель», райсовет «Динамо» арендовал борцовский зал. На первое занятие мы, боясь опоздать, приехали раньше. Стали заглядывать в огромные окна, а в зале творится что-то непонятное. Какие-то крепкие парни в куртках бросают друг друга на ковер, кувыркаются по залу из одного угла в другой, поднимаются и снова эффектно бросают. Это со своими мастерами занимался мой будущий учитель Лев Борисович Турин.

Наступил перерыв в тренировке, и тут сам тренер выходит к нам. А накануне в цирке была встреча по вольной борьбе «Иран – СССР», встречу эту показывали по телевизору, и судил ее как раз Лев Турин. Телевизоры тогда еще были редкостью и собирали у своих маленьких экранов соседей со всего околотка. Мы с Федей, конечно, смотрели вольную борьбу и, конечно, Турина моментально узнали. Живой, настоящий, тот самый, что и в телевизоре!

Я потом узнал, что до этой секции на Цветном бульваре у Турина уже была плеяда знаменитых учеников, чемпионов России, призеров страны. Лев Турин был учеником Василия Ощепкова, стал продолжателем его дела, а впоследствии признанным специалистом и пропагандистом самбо. Он приложил немало усилий для того, чтобы перед чемпионатами Советского Союза по самбо стали проводиться и чемпионаты России.

Первый российский чемпионат состоялся в 1949 году в Ленинграде. Турин тогда работал в Московском областном совете «Динамо», три раза в неделю тренировал милиционеров. В основном из них он и сформировал московскую областную команду для участия в чемпионате. В то время в самбо было восемь весовых категорий, и вот на этом первом чемпионате четверо из учеников Турина и он сам в возрасте тридцати семи лет становятся чемпионами России. Такой человек и стал моим первым и единственным тренером. С его помощью я и начал освоение великой системы самбо.

В секцию записалось свыше сорока человек, половина – из химкинской школы. Уже на втором занятии Лев Турин, выстроив группу, попросил сделать шаг вперед тех, у кого нет отцов. Вперед вышагнули три человека: я, Федя Ионов и еще один юноша. Турин попросил нас не уходить сразу, подождать его. После тренировки он посадил ребят в свою «Волгу» и привез к себе домой.

Его жена Альбина Михайловна такой приготовила нам стол, что я с пятьдесят пятого года его до сих пор помню. Дома у нас есть практически было нечего. Отец умер в сорок девятом году от старых военных ран. Нас у матери – семеро. Правда, сестра была уже замужем, а старший брат в армии, но все равно нас пятеро школьников, а мамина зарплата в доме отдыха – 40 рублей. Питались мы картошкой да капустой, которые сами и заготавливали. И вот Альбина Михайловна, кудесница, приготовила для нас невиданный обед! Они с Львом

Борисовичем долгое время жили в Средней Азии, и она умела угостить. Да, я до сих пор помню этот обед.

Не забыть и заботливое, внимательное отношение Льва Борисовича к нам – отношение отца к детям. Его все интересовало – как у нас дела дома, как в школе. Он жил с нами общей жизнью. Про каждого знал все и никого не оставлял без внимания. Это был настоящий, большой педагог.

Помню, три занятия мы отзанимались. Нам так нравилось, мы были в восторге. И тут наш тренер говорит: «Вы, ребята, дневники принесите. Потому что спорт – это хорошо, но основное ваше занятие – это учеба. И в зависимости от того, как вы учитесь, мы будем к вам здесь относиться. Можешь ты хорошо делать свое основное дело, значит, будешь заниматься. А у кого нелады, мы дадим возможность и время подтянуть».

Так он нас огорошил, и меня, в частности. У меня троек много было, мне жутко неудобно было приносить ему дневник! Принес. Он посмотрел: «Да, Миша, надо бы подтянуться. Тут-то, в секции, ты, чувствуется, лидер. А что же в школе?»

И вот настолько уже тогда его слово было для нас веским, настолько хотелось приезжать к нему заниматься самбо, что в течение месяца у меня почти не осталось троек. Лев Борисович понимал, что самбо – это наше любимое дело. И пользовался этим рычагом умело и незаметно. А когда нужно было, он откровенно включался, помогал.

Секция Турина на Цветном бульваре начала работать в январе, а в феврале на Москву свалились лютые морозы. Занятия в школах отменили, но на самбо мы все равно ходили. Ехали на электричке, потом на трамвае. Два с половиной часа туда, два с половиной часа обратно. Этот путь мне предстояло проделывать еще долго.

Через год, закончив школу, я стал работать токарем-револьверщиком на московском чугунолитейном заводе имени Войкова. Обтачивал пробки для радиаторов парового отопления, нарезал на них резьбу. Тысяча двести пробок за смену. А в перерывах конвейер, на котором радиаторы собирали, нужно было обеспечить заготовками, вовремя их загрузив в специальные ящики. Около 40 тонн набиралось ежедневно за смену этих пробок и ниппелей к ним. В цехе – дым, копоть, запах горелого масла. Когда сверху засыпают десять тонн чугунных заготовок в огромный металлический ящик – грохот, как в аду. Толстый байковый костюм, служивший спецовкой, был промаслен и прокопчен насквозь. Когда в конце смены я шел в душ, мне казалось, что я негр...

Работа в три смены. После работы – на тренировку. Час на трамвае от метро «Войковская» до цирка. Я садился и засыпал. Иногда открывал глаза: что такое? – снова «Войковская»... В этих случаях на тренировку я опаздывал, и Лев Борисович сердился. А вечерняя смена на заводе заканчивалась в час ночи. Троллейбус ходил до половины второго. На нем я после тренировки успевал доехать до Никольской больницы, а оттуда девять километров до дома бежал бегом. К половине третьего ночи добегал, ложился спать, а утром – на тренировку, потом на завод. После ночной смены я успевал поспать дома два с половиной часа, потом столько же на дорогу до Дворца спорта «Строитель». Целый год жил я в таком сумасшедшем режиме, который теперь, оглядываясь назад, не очень понимаю, как сумел выдержать. Однако я не пропустил ни одной тренировки.

Через год я понял, что, несмотря на материальные трудности в семье, все же надо учиться. Вместе с Федором Ионовым, который только что окончил школу, решили поступать в МОПИ – Московский областной педагогический институт. Предпочтение там отдавали отнюдь не самбистам. Половина сборной команды СССР по гимнастике была воспитана здешней кафедрой. И хоть легкую атлетику я сдал, не хвастаясь, лучше многих, за гимнастику мне вклеили «двойку» и не приняли.

Тогда Лев Борисович предложил нам с Ионовым поучиться в Высшей школе тренеров при ГЦОЛИФКе. Туда в основном принимали заслуженных, именитых спортсменов. Нас

сначала не хотели даже допускать к экзаменам. Но Лев Борисович сумел убедить ректора ГЦОЛИФКа, и мы поступили.

Шел уже 1957 год. К этому времени мы оба были уже перворазрядниками. Турин помог нам устроиться тренерами в облсовет «Урожай». Вдвоем с Ионовым мы получали в Школе повышенную стипендию и после занятий тренировали в «Урожае» группы самбистов. В том году я выступил на чемпионате России и стал пятым. В следующем году – четвертым, в 1959 году – тоже четвертым. А в 1960 году – бронзовым призером российского чемпионата.

Закончив учебу в Высшей школе тренеров, я сразу же поступил на заочное отделение ГЦОЛИФКа и перешел работать в московский облспорткомитет. При нем тогда была самая крупная в Советском Союзе Школа высшего спортивного мастерства – около ста тренеров, пятнадцать видов спорта. Я работал старшим тренером Московской области. Помимо того, на общественных началах тренировал сборную команду России, сам выступал в соревнованиях и выполнял функции инструктора по спорту. В его ведении было три вида борьбы – классическая, вольная, самбо – да еще бокс и тяжелая атлетика. По пяти этим видам нужно было формировать сборные команды области, отправлять их на соревнования, отвечать за сборы, выезды, отчеты и прочее.

К тому же я был ответственным секретарем комитета самбо при Всероссийской федерации борьбы, поскольку федерация тогда была общая. В российском спорткомитете ежегодно приходилось проверять 300–400 «дел» на мастеров спорта, на тренеров, на судей республиканской категории. В то время, чтобы стать мастером спорта, нужно было одержать 15 побед над перворазрядниками, или пять – над мастерами, или сочетание того и другого. Один мастер спорта приравнивался к трем перворазрядникам. На проверку всей этой бухгалтерии уходила уйма времени.

Оглядываясь назад, я иногда сам себе удивляюсь: тренировал сборную России, боролся по двум видам, все соревнования судил, проводил семинары и сборы. Как я мог успевать все это? Только благодаря Льву Турину, который всем нам привил к самбо любовь и серьезное отношение. И стремление участвовать, участвовать, участвовать во всем. И всегда самбо пропагандировать. Между прочим, благодаря Турину и такому отношению к спорту я женился только в тридцать лет.

С милой девушкой познакомишься, какие-то симпатии начинаются. Телефонов тогда у нас не было. Ну, в тренировочные дни встречаться некогда, только в воскресенье – во столько-то, вот там-то. Договоришься, и вдруг в пятницу вечером Лев Борисович Турин объявляет: «Ребята, нас попросили поехать в район за 120 км с показательными выступлениями. Очень хорошо, что нам доверили». И начинаешь: «Лев Борисович, да у меня дела, и вообще...» – «Ну, Миша! Ну, если мы не будем пропагандировать самбо, то кто будет? Тем более, кроме вас, интересно показать технику никто не может!»

А мы с Федором Ионовым в паре всегда выступали. В то время самбо очень популярно было. Часто приглашали, с удовольствием смотрели. И конечно, приезжаешь куда-нибудь в район – ковра нет, зала нет, ничего нет. Хорошо, если на земле, а то и на асфальте мы все показывали или на полу на сцене. Все приемы! Всю технику! Причем это на таком фуроре шло! Как бросок дашь на полу, рукой – страховка, звук идет на весь Дом культуры.

Помню, однажды приехали в Волоколамск. Лютая зима, мороз градусов двадцать пять. Приехало нас человек двадцать. Гимнастика, акробатика, ну и мы с Ионовым – самбо. А сцена в Доме культуры дощатая. Доски гремят! Как бросок, так весь Дом культуры сотрясается. У нас концовка всегда была: передняя подножка, задняя, бросок через голову. И всегда я заканчивал «мельницей». И все в темпе, быстро. Лев Борисович объясняет: «Вот, когда противник здоровый напирает на вас, вы делаете такой прием, потом такой прием...» Я Федю Ионova на плечи выхватываю и со всей силы с высоты своего роста бросаю. Две доски с треском проламываются, Федя исчезает под сценой, только пояс его у меня в руках.

Пыль столбом! Что там началось, это нужно было, конечно, видеть! Как он оттуда вылезает. Живой!

Или в Совмине, помню, показательное выступление. Там сцена паркетная, такая натертая, блестит вся. Мы-то с Ионовым – ладно, у нас только ладошки горели от страховки. Но с нами Борис Мищенко и Олег Степанов еще выступали. Мы их пригласили в компанию для авторитета. У нас ведь не было таких титулов. Олег Степанов был к тому времени пятикратным чемпионом Союза, а Борис Мищенко еще не был чемпионом Союза, но чемпионом ЦСКА уже был. Мы с Ионовым демонстрировали всю спортивную часть, приемы самозащиты. А они – боевую сценку. И вот получается, что Борис Мищенко, который поздравнее Олега Степанова, на него налетает, а Степанов подсаживается и через голову его бросает. Борис ноги, как положено, выбрасывает, а паркет скользкий. Он не успел сгруппироваться, затылком об пол стукнулся и проскочил в оркестровую яму. А на краю повис. И тут пауза – он не может вылезти. Секунд тридцать прошло. Мы за кулисами стоим, не пойдем, в чем дело. Он потом рассказывал, что, когда стукнулся, у него случилось что-то вроде сотрясения мозга и он потерял ориентацию. Я, говорит, держусь за край сцены и себе внушаю: «Удержаться! Удержаться! Удержаться!!» Потом удержался, вылез, а у него Олег Степанов перед глазами туда-сюда качается. И он пошел: раз! – в одну сторону, раз! – в другую. Мы ему потом: «Борь, ты чего так шел-то?» Он говорит: «А я его преследовал!» Сколько прошло лет, но до сих пор мы со смехом вспоминаем тот случай, когда встречаемся.

А еще я часто вспоминаю, что давным-давно, еще в 1961 году, говорил мне Лев Борисович по поводу женского самбо. Тогда у нас в стране его не было, официально оно нигде не культивировалось. Но в 1961 году Лев Борисович набрал группу девочек. Девочки были из музыкального училища. Такие симпатичные! И вот вне расписания, негласно они приходили заниматься самбо. А я был против. И когда они приходили, я говорил: «Лев Борисович! Ну зачем девочкам заниматься самбо? Ну не их, не их это дело!» И я запомнил, что сказал мне Лев Борисович: «Миша! Ты сейчас, может быть, еще не понимаешь. Ты молодой! Но ты знай, что, если женщины чего-то захотят, они своего добьются. И ты попомни меня: обязательно они будут заниматься самбо! Обязательно у них будут чемпионаты мира и все соревнования, которые есть у мужчин! Их все равно не остановить!»

Я до сих пор удивляюсь, как он был прозорлив! На столько лет вперед! Ведь женское самбо впервые включили в программу Всемирных игр только в 1985 году. Как и самбо вообще. Правда, наши команды, ни мужская, ни женская, в этих Играх не участвовали, но это не меняет дела. Женское самбо тогда у нас еще не культивировалось. Зато сейчас мы проводим среди женщин уже седьмой чемпионат.

Кстати, мы с Федором Ионовым в том же 1961 году тоже приложили руку к возникновению у нас в стране женского самбо. Лев Турин предложил нам с Ионовым поучаствовать в полуторамесячном семинаре для секретарей первичных комсомольских организаций Московской области. У них в плане значилась спортивная и физическая подготовка и по три занятия самбо.

Семинар проходил в палаточном городке за 120 км от Москвы, под Воскресенском. Секретари приезжали на неделю, всего было шесть потоков по 100 человек. В основном это были девушки. Здоровые такие, ядреные, крепкие сельские девчата. И вот мы с Ионовым проводили с ними зарядку, кроссы бегали и обучали их некоторым приемам. И как им понравилось заниматься самбо! Как они схватывали все на лету, гораздо лучше, чем парни! И каких добивались успехов! Перед отъездом все дружно высказали пожелание, чтобы в следующий раз программа по самбо была пошире. А потом до нас с Ионовым дошли слухи, что некоторые из них, приехав к себе в район, организовали там секции женского самбо...

Такая вот нелегкая и славная судьба самбиста... Мне даже стало жаль, что на этом воспоминания Михаила Ивановича обрывались – так пахнуло на меня знакомым духом нашего

самбистского братства, молодости, увлеченности, борьбы... И я подумал, что, наверное, Тихомиров мог бы стать мне неоценимым помощником в той работе над историей и философией самбо, о которой я всерьез подумывал и к которой давно начал готовиться. Так оно и вышло – многое из того, что легло в основу моей трилогии, я узнал впоследствии от Михаила Ивановича Тихомирова.

* * *

Николай Васильевич между тем принес из кухни горячий чайник и вернул меня к прерванному было разговору о «русском японце» – Василии Сергеевиче Ощепкове:

– А вы знаете, кстати, почему Ощепкова так называли?

– Ну, Михаил Иванович рассказывал, что Ощепков закончил Кодокан... А как он вообще-то туда попал? В плену был, что ли, во время Русско-японской войны?

Николай Васильевич снисходительно махнул на меня рукой:

– Вот и видно, слышали звон... Впрочем, что мне вас винить – еще недавно само имя Василия Сергеевича было в неизвестности. Хотите, я вам расскажу подлинную историю этого удивительного человека? Вы, поди, о сахалинской каторге у Чехова читали? Знаете его очерки «Остров Сахалин»?

Я посовестился признаться, что читал-то не у Антона Павловича, а у куда более популярного в наше время Валентина Пикуля, и только молча кивнул головой.

– Ну, тогда слушайте... Это тоже неординарная человеческая судьба. Трагичная, можно сказать, уже самыми условиями появления этого человека на свет. Но для этого придется нам сначала мысленно перенестись на остров Сахалин.

– Почему? – удивился я. – Разве наш «японец» сахалинский?

– Терпение, голубчик, терпение: понемногу все разъяснится. Ну, слушайте.

4. «Кругом вода, а посреди – беда» (По рассказу Н. В. Мурашова)

Вот у меня тут закладочка в сахалинских заметках Чехова. Позвольте, прочту:

«К Сахалину подошли вечером. Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти местах большими кострами горела сахалинская тайга. Сквозь потемки и дым, стлавшийся по морю, я не видел пристани и построек и мог только разглядеть тусклые постовые огоньки, из которых два были красные. Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастической», – таким впервые увидел Сахалин Антон Павлович Чехов. В 1890 году, за два года до рождения Васи Ощепкова.

«Кстати сказать, – пишет Чехов своему издателю Суворину, – я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все... избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек, каторжных и поселенцев... Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд».

Наверное, где-нибудь в чеховских архивах до сих пор хранятся эти карточки. Васи Ощепкова в них, конечно, нет, как не было его в ту пору и на белом свете. Но вот поселенец, ставший его отцом, а может быть, уже и будущая мать – Мария Семеновна Ощепкова – должны были попасть в эту сахалинскую картотеку Чехова, а значит, видели его, говорили с ним и, может быть, запомнили красивого высокого барина в пенсне, который выспрашивал и записывал на бумажку все в подробностях – имя, прозвище, и какой губернии родом, и как оказался в здешних краях. И, должно быть, тревожились: не было бы от этих записей какого худа.

А теперь давайте вспомним, что такое был в то время Сахалин, и я расскажу вам, как оказались там родители Василия Сергеевича Ощепкова. Для вас, молодых, это ведь дела давние, малоизвестные – что-то вроде татаро-монгольского ига, наверное. Одним словом, история. А за ней ведь живые люди, и, как видите, еще сегодня она откликается – знай не ленись ворошить.

Думается, было бы небезынтересно посмотреть на описание жизни любого человека с точки зрения стандартной школьной программы: начинают все история с географией – дата рождения и место рождения. А потом уж у кого что получается: рассказ, коротенькая повесть или многотомный роман с продолжением. А между строк – биология, физика с химией, общественные науки и обязательно работа над ошибками.

Итак, в 1892 году, в самом конце морозного, пронизанного океанскими ветрами декабря, на Сахалине, в церкви Александровска, благочинный, священник Александр Унинский совершал таинство крещения. Восприемниками от купели были старший писарь Управления войск острова Сахалина Георгий Павлов Смирнов и дочь надворного советника Якова Наумова Иванова, девица Пелагея Яковлева. О чем и была сделана настоящая запись в церковной метрической книге.

Нарекли младенца Василием – так пожелала мать, каторжная александровской тюрьмы Мария Семеновна Ощепкова. А вместо имени и прозвания отца стояло короткое уточнение: «незаконнорожденный».

Вряд ли были при этой отнюдь не торжественной церемонии свидетели – во всяком случае, их рукоприкладства (так называли в то время подписи) в метрической книге не оказалось. Никому не хотелось под самый Новый год тащиться потом по длинной, переметенной сугробами Николаевской улице следом за молчаливыми изыбшими кумовьями – писарем Смирновым и девицей Яковлевой, даже если и ждала их по случаю крестин и наступающего

Новогодняя чарка знаменитой сахалинской самопальной водки с икрами. Кому на острове в ту пору были за деликатес эти оладьи из красной икры с тертой картошкой, которые наловчились печь местные бабы...

И все же, принимая от кумовьев сладко спящего, только что окрещенного младенца, Марья Ощепкова не слишком печаловалась. Сожитель, отец мальчика, достался ей хоть и по тюремной разрядке, а не злой и с нажитым здесь, на поселении, достатком. Ее, беглую, плетью битую, не обижал, хоть кулаки и имел пудовые. И сына признал – дал свое отчество. Сам не варнак какой – прибыл на остров по переселению.

Чутьочку хмельная после выпитой чарки, задумалась Марья о том, что далеко позади осталась ее прежняя жизнь на материке, хотя и немного времени прошло с тех пор, как за проступок, о котором и вспоминать не хотелось, оторвали ее, крестьянскую вдову Ощепкову, от малолетней дочери и сослали в работный дом. После деревенской вольницы показалась ей фабричная жизнь адом, из которого она бежала при первом удобном случае. А с беглой другой разговор – дали плетей и на семнадцать лет отправили на исправление в сахалинскую каторгу. С тех пор навсегда отплыла от нее прежняя жизнь, и даже о дочери не знала она больше ничего.

В нынешнем-то 1892 году каторге сахалинской уже больше двадцати лет. Слава богу, не довелось Марье добираться до берегов Тихого океана этапом через всю Сибирь. А первых-то каторжных, сказывают, гоняли. Около года шел этап, бряцающая кандалами. А сколько не дошло – лежат косточки вдоль Владимирского тракта и по всей каторжной сибирской дороге. Ее, Марью, везли уже «осенним сплавом» – из Одессы, кораблем Добровольного флота, в сопровождении воинской команды.

Тоже хлебнули горюшка в этих морях. И мерли многие – только уже не от морозов, а от жары и духоты в трюмах, от гнилой воды. Плакали бабы навзрыд над своей горькой долей, а пуще от страха перед Сахалином. Уже знали по рассказам, что баб в Александровске в тюрьме не держат, а раздают вроде как замуж тем, кто находится на поселении – «для ведения хозяйства».

Поглядывая на своего Сергея, раскрасневшегося после выпитого, вспоминала Марья Семеновна, подперев щеку рукой, как неумело он, мужик из поселенцев, уговаривал ее «не сумлеваться» и пойти к нему «на хозяйство» – одному никак не управиться и в дому, и на огороде. Да и вторую избу наладился ставить, чтобы сдавать за деньги постояльцам – в жилье у народишка здесь большая нужда. Получив «на лапу», тюремный писарь не перечил этому выбору. Так и заимел Сергей от властей хоть и невенчанную, а жену. А почувствовав себя женатым, понял, что хочется здесь, на краю земли, того же теплого лада, как и в отцовском доме – лада, который держался на тяжелом труде мужика, на любви, уважении и терпении жены.

Поглядывал и Сергей на свою призадумавшуюся половину: вспомнилось, как учил отец: «Дело мужика – дом обеспечить, дело жены – дом вести. В семейной жизни всякое бывает – когда и не прав. Ну, повинись. Но ежели жена не уважит, и сам себя мужик уважать не станет, и люди осудят, и дому настанет разор».

Наставлял отец сына по мудрой книге под названием «Домострой»:

«Если подарит кому-то Бог жену хорошую – дороже это камня многоценного... Да всякий бы день у мужа жена спрашивала да советовалась обо всем хозяйстве, припоминая, что нужно... А завтракать мужу и жене не годится врозь, разве уж если кто болен; есть же и пить всегда в положенное время. Жене же тайком от мужа не есть и не пить... у подруг, у родни тайком от мужа своего поделок и подарков никаких не просить и самой не давать и ничего чужого у себя не держать без ведома мужа, во всем советоваться с мужем...»

Что сам, сынок, делаешь, тому и жену учи: всякому страху Божию, разному знанию и ремеслу, и рукоделью, всяким делам и домашнему обиходу и всем порядкам – сама бы умела

и печь, и варить, и любое дело домашнее знала и всякое женское рукоделье умела: когда сама все знает и умеет, сможет и детей всему научить, ко всему пристроить и наставить во всем...

Доброй женою блажен и муж, и число дней его жизни удвоится – добрая жена радуется мужу своему и наполнит миром лета его; хорошая жена – благая награда тем, кто боится Бога... Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – венец своему мужу; если обрел муж такую жену хорошую – только благо выносит из дома своего... За жену хорошую мужу хвала и честь...

А еще сказано в Евангелии: «Жена добродетельная радуется своему мужу и лета его исполняет миром».

Что ж, баба попалась справная, не шалава. Сына вот родила. Теперь и малец своим рождением добавил прибýtка в семью – власти выдавали на ребенка продовольственный пай, какой полагался арестанту в тюрьме. Сыт не будешь, а с голоду не помрешь.

Жаль только, что в бумагах ему поставили на всю жизнь такое клеймо. Ну да Бог даст, отбудет Марья срок, можно будет и обвенчаться с нею – мальчонка будет привенчанным, получит отцовскую фамилию. А пока, конечно, придется ему несладко. Как и другим таким же мальчикам.

* * *

Шли годы и – как в воду глядел отец – с ранних лет несладко пришлось Васе Ощепкову в «сахалинском Париже» – так величали островитяне свой Александровск. Щедрая на клички и по-мальчишечьи жестокая улица во время ссор дразнила его, как и многих других сахалинских ребятишек, и байстрюком, и подзаборным, и другими словечками похуже, уже из взрослого языка. Когда ему растолковали, что это значит, он стал отбиваться от обидчиков не словами, а кулаками.

Мать только ахала, увидев очередной синяк у сына под глазом, грозила пожаловаться отцу, обещала ремня.

Но отец, сам в прошлом первый кулачный боец в своей округе, за ремень братья не торопился. Поглядывая искоса на насупленного мальчонку, удовлетворенно отмечал про себя, что хоть нос и расквашен, но мордашка не заревана – сын растет не плаксою, крепким будет мужиком.

Живо вспоминалось и собственное детство – без Сереги не обходилась ни одна рукопашная схватка, когда собирались мальцы, а потом и взрослые парни, помериться силушкой то ли на Троицу, то ли на престольный праздник, то ли на Святках или на Масленицу. Дрались без злобы, подначивая друг друга, до первой крови из чьего-нибудь разбитого носа. Однако синяки и шишки набивали настоящие и долго потом хвастались друг перед другом, кто кого крепче саданул или приложил.

Пуще первых побед помнились неудачи, может быть, потому, что чуть не больше его самого огорчался его поражениями отец: «Фамилию, Серега, стервец, позоришь, – шумел, расходился батяня. – Наши николи битыми не хаживали. Сколь разов учил тебя: не задирайся первым, как петух, оглядись сперва. Кулаками зазря не размахивай – замахнулся, так бей. Да с умом – а то в висок али под дых попадешь, с твоею силушкой и убить недолго. Ты его, супротивника, значит, захвати и ломай, как медведь ломит – видал, поди, давеча на ярмарке, как медведь с цыганом боролись?» – «Да-а-а, – шмыгал разбитым носом Серега, – дак цыган все равно верх брал!» – «То на ярмарке, – сердился отец, – то они понарошку. А вот, слышь-ка, я тебе одну штуку покажу, мне еще дед мой показывал. Ни один против нее не устоит». И «штука» тут же показывалась Сереге. И летел он не раз и не два на земляной пол избы от твердой отцовской руки.

– Тять, – спросил он как-то отца. – А отколь дед наш все это умение добыл?

– Дак разве в одном деде дело, сынок? Это у нас в роду издревле. Наши-то еще с Ермаком Тимофеевичем Сибирь воевали. Слышал, поди, песню: «Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали...». Нашего роду были у Ермака первые бойцы. Про них говорили, что заговоренные они – стрелы, мол, их не берут.

– А неужто в самом деле заговоренные?! – широко распахнул глаза Серега.

– Нет, сынок. Заговор – дело темное, колдовское. А наша сила – это Божье соизволение. У деда, сколь себя помню, книги были древние, старинные. Тяжелые такие – переплеты-то из доски, кожей обтянутые, с медными застежками. И страницы из кожи выделанной – харатья или пергамент называется. Дед мой говорил, будто они от руки писанные.

– А что в тех книгах, тять? – подался вперед Серега.

– А разное: и молитвы, и жития святых, и всякие знания монастырские – как раны лечить, как травы целебные собирать и всякое такое. Говорят, был в нашем роду один ратник. Когда силушки от годов да от ран поубавилось, ушел в монастырь к самому отцу Сергию Радонежскому. Там, в келье, и писал. И про дела ратные тоже. Кое для братии, а кое нам, сродникам своим.

– А-аа, – разочарованно протянул Серега. – А я думал, в тех книгах про бои кулачные. Я бы почитал.

– Почитал бы ты, как же, чтец! Дед грамотей был не тебе чета, его церковной грамоте сам отец протодьякон обучал. И то в последние годы все больше уж по памяти говорил – пальцем-то по странице водит, а глаза будто во что незримое смотрят. А про бои... Вот, помню, сказание одно он передавал... Так и говорил: было, мол, не было – а люди сказывают...

– Да про что сказывают-то?

– А вот, мол, еще во времена Мамаевы, еще до Куликова поля, послал тот хан Юрию, князю Муромскому, такую грамоту: мол, не хватит ли нам друг против друга стоять да людей губить? Не порешить ли наши дела миром?

– Ишь ты! – сказал Серега. – А чего это он так?

– Да мир-то он не просто так предлагал. Видно, немало воинов у него под Муромом полегло. Вот он и говорит: не будем, мол, всем войском биться, а выставим друг против друга двух богатырей – твоего да моего. Коли мой одолеет, ты мне по-честному три года сам в Орду дань возить будешь. А коли твой верх возьмет, на пять лет тебя от дани освобожу. А войско свое в обоих случаях уведу из-под Мурома.

– А князь чего?

– А князь и призадумался. Сел на коня с малою дружиною и поехал лесами в обитель к старцу Дионисию. «Как быть? – спрашивает. – Хочется уберечь княжество от разорения, людей от гибели. Да нет у меня богатырей супротив монголов. Откормились они на нашей дани, силу набрали немереную».

Дионисий только головой покачал и велел послушнику покликать чернеца Олексу.

Вошел тот Олекса в келью, на пороге голову не пригнул – росточка, значит, невеликого, среднего. Князь и руками развел: у меня, мол, таких богатырей – каждый третий. А Дионисий на своем стоит твердо: этому, князь, молодцу стоять против богатыря монгольского. Благословил их обоих, с тем из обители и отъехали.

– И что? Выстоял?

– А вот слушай. Монгол вышел на бой – дед сказывал – гора горой: каждая жилочка литая, сам жиром конским намазанный, голый до пояса, как из меди выкованный. Пояс на нем широкий намотан.

А наш против него гибкий, как лозинка. На монастырских постах не разжиреешь. Телом белый и волосом русый. На груди крест. Монгол увидел его, ощерился и в сторону плюнул: мол, не с кем и силу показать. А Олекса только на небо глянул да перекрестился.

И пошел монгол ломить нахрапом: норовит нашего на землю свалить да хребет ему сломать по обычаю монгольскому. Но не на того напал: Олекса от захвата уходит, увертывается. Где отступит, где под тушу эту проскользнет. И вот водил он его этак, водил – монгол, видать, решил, что наш струсил, и остерегаться Олексу вовсе перестал. А Олекса тот момент уловил, за пояс накрученный его ухватил, через себя обернул да оземь и грянул. Тут вес монголу плохую службу сослужил – собери-ка да подыми эту кучу жира... Олекса ему на грудь ногу поставил – моя взяла!

Хан, сказывали, почернел весь от злости, однако рукой махнул: ваша взяла. И коней от Мурома вспять повернул.

А еще дед сказывал, что будто Олекса этот тоже был нашего рода. Вот и смекай, откуда наша сила начало берет.

А оберег что – оберег-то я тебе скажу: «Ино будь сбережен от топора, от пищали, от татарския пики, от стрелы каленая, от борца, от кулачного бойца...» Оберег тот древний – с ним, слышь, еще пращурь на рать против монголов хаживали – на себе те грамотки носили в ладанках.

Сереге над этим рассказом крепко задумался. И хотя все равно старался он не попадаться в общей схватке под кулак первому уличному силачу Егорке, странная уверенность теперь владела им, будто он заговоренный какой, или дрались за него и вместе с ним все те «наши», что николи побитыми не уходили из боя. Перекреститься в драке, – конечно, дело несподручное, но если уж сильно наседали противники, само собой вспыхивало в голове: «Господи, помоги!» И вроде сил прибывало – сам кидался в атаку.

Но однажды, помнится, влетело ему от бати не за поражение, а за победу. Зимой дело было, брали на Масленице снежный городок за околицей. Сереге влетел в избу красный, разгоряченный – треух набекрень, шубейка нараспашку. Снег с валенок голиком не обмел – торопился взახлеб рассказать, как намяли бока тем, с соседней улицы. Но споткнулся его рассказ о безответное молчание отца.

Только теперь заметил он, опоминаясь, что мать возится в переднем углу на лавке с младшим братишкой Алехой – соскребает с окна снежную изморозь и прикладывает мальчонке к лицу. Подошел ближе и увидел синяк в полщеки. Сначала, еще не врубаясь, радостно гыгыкнул: «С крещением!» И покачнулся от здоровой отцовской затрещины.

Обидно стало нестерпимо, и, хоть не заведено было перечить старшим, огрызнулся: «Я, что ли, его?» – «А хоть бы и не ты, – тяжело сказал отец. – А где ты был, когда на малого трое здоровых парней налетело? Себе победу свою добывал? А там хоть трава не расти?» Добавила и мать, покачав головой: «А думали, богатырь растет, слабым заступничек...»

И хоть дал потом Сереге Алехе исподтишка подзатыльник: «Слабак, а лезешь. Отдувайся потом за тебя!», но запомнил на всю жизнь, что сила тебе не на одного дается, а вроде как и на тех, кто не может за себя постоять.

А вспомнив все это теперь, уже взрослым мужиком, отцом, Сергей вдруг понял, что в долгу перед сыном: не дал он пока Ваське вот это главное во всякой драке чувство, что есть «наши», что стоят они испокон за твоей спиной, и нельзя не заступиться за слабого, не встать за правое, святое дело, нельзя посрамить ни свою, ни их честь.

Да и подучить кой-чему сына не мешало бы – кому как не ему должно передать то, что накоплено из поколения в поколение российскими кулачными бойцами? Словесно наставлять сына не стал – не мастер был на длинные объяснения. Но теперь, после очередной полученной Васькой на улице взбучки, отец, усмехаясь, отводил мальчонку на задворки и там, не слушая возмущенных протестов жены, показывал ему нехитрые приемы русского рукопашного боя, которыми должен владеть каждый мужик, если хочет постоять за себя и за близких. А среди здешнего народа без этой бойцовской науки просто нельзя – не выживешь.

Мечтал Васька о настоящих бойцовских кожаных рукавицах с нашитыми железными бляхами, про которые вычитал в былинах, да отец вразумил, что богатыри с врагами бились, а там, где силой меряются, за такие рукавицы и вовсе из состязания выкинуть могут: ведь покалечишь кого, а то и пришибешь, не дай бог.

Наказывал отец Ваське прежде всего первым в драку не вязаться, а ожидая нападения, расслабиться, не напрягаться. От ударов уходить скрученным телом, уклонами, отбивами, заставлять противника промахиваться, терять равновесие, злиться. А на сердитых конях воду возят. Еще учил падать, не ушибаясь. Показывал поясную борьбу «в схватку» – с захватами за ворот двумя руками– и «не в схватку»: с захватами одной рукой. Говорил, что самые опасные удары – в солнечное сплетение и по суставам.

– Учись, Васька, пока я жив, – смеялся отец, поднимая сына за руку с земли после очередного «приема». – Да не тужи, сынок – за битого двух небитых дают.

Такая вот была отцовская наука...

А еще Ваське страсть как хотелось спросить у матери или отца, почему его так нехорошо дразнят при живых папке с мамкой. Он уже начал задумываться, а родной ли он им – может, и впрямь нашли его однажды под забором, в гигантских здешних лопухах? Особенно мельтешила в головенке эта мысль после щедрых материнских шлепков или редких, но увесистых отцовских подзатыльников. Но становилось невыносимо страшно узнать, что у тебя нет больше самых родных людей на белом свете, а сами они никогда не говорили с ним об этом и ничего не объясняли. И он только стискивал кулачки да снова бросался в драку со своими уличными обидчиками.

– Ну это что ж... – раздумчиво сказал однажды отец, поглядывая на расхристанного после очередного побоища Ваську, – ежели ты на всякое обидное слово будешь кулаками отвечать, не вылезать тебе из синяков. Они ведь тебя, однако, нарочно подначивают.

– Я вот вырасту, покажу им! – похвастался сын.

– Дак это еще покуда вырастешь... А ты бы отступился от них, что ли. А то ведь, гляжу я, златься ты начал. А злая сила – дурное дело, сынок.

– А добрая сила на что? Какая она? – недоверчиво спросил Васька.

– А вот послушай-ка... Дед твой Василий (тебя, брат, по нему назвали), это отец мой, значит, мне однажды рассказывал: ехал он как-то на Святках от кума из соседней деревни. А у нас там, в Рассее, на материке, зимы морозные, сугробные... Ладно. Едет дед твой лесом, коняшку понукает. Вдруг слышит – шум какой-то впереди и вроде крики. Подхлестнул лошаденку, подъехал ближе. Видит, разбойное дело, однако: трое в армяках, красными кушаками перепоясанные, мужичонку спешили. Один выюки на лошади раскурочивает, аж с головой в них влез. Двое других уже и полушубок с мужика стянули, к сосне его ладят поводьями прикрутить.

Ну, дед, знамо дело, смекнул, что к чему: об этих «красных кушаках» давно по округе славушка шла. Схватил из саней слегу – жердь такую – и на тех двоих. Они, однако, поняли, что один он – и к нему. А дед здоровенный был, силушкой Господь не обидел, он слегой-то кругом себя вертит, их близко не подпускает. Тут и мужичонка ограбленный опомнился: ухватил поводья, которыми его вязать хотели, да петлей сзади и накинул на шею тому, что в переметных сумах рылся, придушил его слегка. А дед слегу-то бросил, встал прямо, по-медвежьи, на снегу топчется: ну подходи, кто смелый! Да вовремя заметил, у одного в руке что-то блеснуло. Шагнул вперед, развернулся, схватил руку с ножом за запястье, на себя рванул, а левым кулаком ему в рожу. Развернулся налево кругом да локтем ему в челюсть. Третий видит такой оборот – бежать кинулся.

– Ух ты! А дальше-то что было, бать? – с загоревшимися глазами поторопил Васятка.

– А чо дальше? Третьего догнали, повязали всех троих да на дедовых санях и свезли к старосте, да на съезжую.

А мужик тот ограбленный в городе на ярмарке расторговался, подарки родне вез. Ну и деньга, конечно, при нем была. Он все батю, деду то есть, Василию, ассигнации совал. Да дед не взял: «Сегодня мне довелось тебя выручить, завтра, может, ты кому пригодишься – вот и все наши счеты». Ну, однако, матери моей он знатный полушалок на радостях отдал: шелковый, с кистями. Да божились, что в поминанье за здоровье деда запишет.

– Бать, а у деда, значит, сила добрая была? – помолчав, тихонько спросил Васька.

– Неуж злая? Ведь человека, можно сказать, от смерти лютой в лесу, на морозе, спас...

– Как Илья Муромец? Помнишь, маманя про него былинку сказывала?

– А что? И как Илья... Правда, с виду дед Василий на богатыря не больно тянул, да не в обличье дело. Думается мне, однако, благословение на нем такое лежало – от отцов, значит, дедов и прадедов. Помнишь, я тебе давеча рассказывал?

И Сергей Васильевич замолк, будто сам пораженный только что высказанной мыслью. Вспомнилось ему, как умирал отец – лежал на лавке под образами, спокойный, обряженный во все чистое, причащенный и соборованный. И глядя на его просветленный лик, не смела пока вслух голосить собравшаяся вокруг семья.

Ведь именно на нем, Сереге, остановил тогда глубокий, проникновенный взгляд отец, позвал этим взглядом и, положив ему на голову уже почти невесомую руку, слабым голосом сказал: «На тебя их оставляю, и всё тебе. Сохрани и передай» Еще тогда подумалось невольно, что негусто этого «всё». А оно вот, значит, что батя имел в виду... Книжки-то дедовские в переселенье с собой брать поопасался: брату Алексею оставил, Олексе, значит. Наверное, их батя и имел в виду. Не сберег отцовы книги, это так. Однако уроки отцовы при нем. Он тряхнул головою, словно стряхивая наваждение, и нарочито строго сказал:

– Ну будет, однако, разговор: мать вон щи на стол поставила. Иди руки мой да лоб-то перекрести, допреж того, чтоб за ложку хвататься.

Так и запомнился Василию этот вечер: парок горячих щей над столом, отец и мать, дружно сидящие рядом, теплый огонек лампадки под иконой в переднем углу...

Так уж вышло, что в его детской душе кто-то словно перевернул этот короткий разговор, а отцовские слова будто наложили на него какой-то долг, невидимой нитью связали его с незнакомым доселе, но теперь странно близким дедом Василием и другими дедами, прадедами и пращурами, чьи невнятные образы, расплываясь, уходили во тьму.

И теперь уже не ради мести обидчикам копил он силу, бегая, разминаясь, до изнеможения повторяя бойцовские приемы отца. Какая-то иная, еще не названная им самим дальняя цель маячила впереди, звала и тревожила его. Для нее копил он силу и тела, и духа.

Словом, отцовская наука была мужская – кроме традиционных приемов русского рукопашного боя учила она выдержке, смелости, терпению, взаимовыручке, товариществу, передавала простые трудовые навыки, которыми должен владеть каждый настоящий мужик.

Но было в детстве свое, незаменимое, место и материнской повседневной выучке. Впрочем, не то это слово: мать поучениями не занималась, наставлений не читала – она просто была. И с нею, неотделимо от нее, были лики святых в божнице, украшенной всегда чистым, вышитым матерью полотенцем; неяркий мирный огонек лампадки, шепот молитв, которым она его учила...

Сказок она ему почти не сказывала, зато знала немало поучительных историй, которых в своем детстве еще наслушалась от странников и странниц, забредавших в каждой деревне в избы – погреться во время тяжкого и медленного пути на богомолье, по святым местам, от монастыря к монастырю. Некоторые притчи запоминались, и потом, уже на чужбине, в семинарии, где по Воле Божией он окажется, Вася с удивлением узнавал, что передавались странниками из уст в уста отрывки проповедей святых, кусочки их житий, духовные песни и легенды. У этих рассказов были когда-то свои авторы, но их уже никто не помнил – теперь

это было то устное народное духовное творчество, которое потом на долгие десятилетия станет замалчиваться, а кое-что и окажется утерянным...

Особенно надолго запомнилась притча, которой мать старалась его уберечь от каторжных, уголовных сахалинских нравов: здесь, на острове, воровство и за грех-то не считалось здешними поселенцами, отбывавшими срок за гораздо более тяжкие преступления.

– Господь нам заповедал: «Не укради!» – настойчиво напоминала мать. – Не думай, что если ты, не дай бог, тайком взял чужое, то этого в самом деле никто не видел. Солнце и звезды глядят в этот миг на тебя, и ангелы Господни видят тебя и печалуются. Ты все равно не сумеешь надолго скрыть то, что ты опозорился и стал вором.

И в подтверждение рассказывала историю, которая так поразила Васяткино воображение, что навсегда врезалась в память:

– У нас в деревне захожая странница такую историю рассказывала: один паренек вот так-то украл часы карманные. Цепочку к ним купил и стал носить в кармашке. Да только недолго он так красовался – через месяц сам пришел к хозяину часов, повiniлся, отдал часы обратно.

– Почему? – удивился Васятка. – А, знаю! Сломанные, что ли, оказались?

– Нет, часы-то были в порядке, – загадочно улыбнулась мать. – Только когда он их из кармашка вынимал и хотел узнать время, он каждый раз слышал, как они тикали: «Мы не твои! Ты – вор!», да так громко, что ему казалось, будто это слышат все вокруг... Странница, что это рассказывала, на цыганку сама смахивала, ну бабы сначала и опасались, не стащила бы чего. А она заметила, обиделась и говорит: «Я не цыганка, я сербиянка! Мы не воруем – это грех!» И рассказала про часы-то. И каждая краденая вещь тебе всегда будет напоминать: «Я не твоя!»

* * *

Мать так и говаривала:

– Не зарься на чужое, потому как Господь говорит: если пожелал то, что не твое, то уже согрешил в мыслях своих. А там и до дела худого недалеко.

И это простое материнское толкование Господней заповеди тоже осталось на всю жизнь.

Казалось Васятке, навек так будет: дом, материнская ласка, отцовская защита. А все же не миновала его злая доля – круглое сиротство. Только было ему тогда уже одиннадцать лет, и он мало-мальски мог за себя постоять. Однако ссадина, оставленная в душе детскими обидами, сохранилась на всю жизнь.

Душевная эта ссадина болела даже тогда, когда он уже взрослым узнал все обстоятельства встречи своих родителей и то, почему таким «ненастоящим» оказался в глазах людей и закона их брак. Может быть, поэтому на первый взгляд казался он таким сдержанным и как бы отстраненным, особенно с малознакомыми людьми.

Таким показался он и мне, когда я впервые, еще, можно сказать, мальчишкой, встретился с ним...

* * *

– Так вы встречались с Василием Сергеевичем! – воскликнул я и, наконец, не удержавшись, задал давно мучивший меня вопрос: – Сколько же вам тогда было лет?

– То есть вы хотите спросить, сколько мне сейчас, – засмеялся Николай Васильевич. – Ценю вашу деликатность, но я не дама и потому отвечу прямо: скажем, за восемьдесят. А тогда я был совсем еще юнцом, хотя многое было уже пережито: немилостиво, без всяких

скидок на возраст, отмеривала мне жизнь и обретения, и потери... Ну да на все Господня Воля... Продолжать ли?

Я горячо согласился.

* * *

Итак, я впервые увидел его, когда ему было, наверное, около тридцати пяти лет... Впрочем, мне, юнцу, он показался гораздо старше. Я расскажу вам, расскажу все, что знаю о нем – понимаю, что встретил благодарного слушателя. Но сейчас позвольте мне только объяснить, какие отношения у меня сложились с Василием Сергеевичем и почему он впоследствии иногда был откровеннее со мной, чем с другими своими учениками.

Дело в том, что наши судьбы были отдаленно схожи: я тоже остался сиротой, даже в более раннем возрасте, чем он. Тогдашняя моя фамилия была другой. Мои родители, люди далекие от политики, глубоко религиозные, не сразу разобрались в бурных событиях революции на Дальнем Востоке, когда власть менялась буквально через недели. Мой отец, мелкий чиновник какой-то торговой компании, вместе со всей ее конторой, а также моей матерью и мною, шестилетним, вслед за остатками разбитой армии Колчака доотступался до Владивостока.

Не исключено, что дело кончилось бы чем-то вроде Харбина, и быть бы мне русским эмигрантом до незапамятных времен, да отца на этом горьком беженском пути подстрелили не то японские солдаты, не то пьяные семеновцы. Мать вскоре умерла: или с горя, или от беспомощности и недоедания приключилась с ней скоротечная чахотка... Мы самым настоящим образом бедствовали – ей все не удавалось найти работу. Случилось это незадолго до того, как Красная Армия и партизаны Приморья вошли во Владивосток.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.